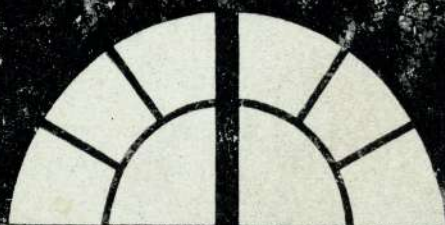


СЫМЕРКУ

6. 1989







СҮМЕРКҮ

сентябрь - октябрь



СУМЕРКИ

/литературно-художественное
издание/



Сумерки - заря, полусвет: на востоке
до восхода солнца, а на
западе, по закате;
/вообще/ полусвет, ни
свет, ни тьма;
время, от первого рассвета
до восхода солнца, и от
заката до ночи, до
угаснутия последнего сол-
нечного света.

/Владимир Даль. Толковый словарь
живого великорусского языка/



Петербург-Ленинград
1989

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ ПРОЗА

Борис Беркович. Из стихотворений 1978-1983	4
Виктория Ионова. Во имя будущего /повесть/	10
<u>Гости</u> . "Свободный университет" /поэтический семинар/ Валерий Артамонов, Сергей Смирнов, Михаил Блазер, Арсен Мирзаев, Андрей Головин, Руслан Миронов, Глеб Денисов, Юрий Дятлов	38
Сергей Завьялов. набросок автобиографии /стихи 1988 года/	46
Борис Вахтин. Шесть писем /роман/	50
Александр Новаковский. Стихи о словах	64
Владимир Матиевский. Из книги "На круги своя..."	82

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ

<u>"Поэт напишет о поэте"...</u> Валентин Лобрецов. Страсть и строгость	70
<u>"Детский сад"</u> Юрий Галецкий-мл. мой папа	85
Юрочка Чарский. Девять стихотворений	88
Лидия Аренс. Воспоминания /предисловие О.Г.Андреевой/	90

ЭТАЖЕРКА

Николай Бердяев. О путях политики	124
Василий Розанов. "Нужно разрушить политику..."	139
"Как страдание радостью может стать..." /письма Е.И.Иванова Н.Г.Чулковой/	142
"НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЕТ СРЕДИ ВЕКОВ"		
"У Хроноса в руках песочные часы..."	159

BOOKS TAND

Фридрих Горенштейн. Исалом	176
----------------------------	-----------	-----

ПОЭЗИЯ



ПРОЗА



ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 1978 - 1983

Широкая откроется дорога.
 Но это будет завтра, а пока
 Чуть стоит руку приподнять немного -
 И кажется, взлетишь до потолка.
 Он пишет: "Век. Зеркальный образец.
 Мещане. Солнце. Волосы. Творец".


Лежи. Шумы то крепнут, то стихают.
 Сосульки тают. Вишни отцветают
 И изредка за стеклами встаёт
 С часами и бутылкой Новый Год.
 На шкаф в тоске закинута подтяжка,
 Десятый час, кефир дают на Пряжке.
 Он пишет: "Снег. Солёный огурец.
 Четыре пива. Ящики. Конец."

В рассветный сон меж талий и стаканов
 На пальцы посиневшие дыша
 Вставляет март бессонный, безымянный,
 Неумолимый ствол карандаша.
 Всё ближе стол. В буфете хлеб остался.
 О Господи, как я проголодался.
 Принц Гамлет. Кипарисовый ларец.
 Поляна. Солнце. Борозды. Скворец.

Колокол застыл, лишая звук пищи.
Звук достиг фасадов и застрял в лепке,
Только у подножья на ветру нищий
Звякал чем-то сложенным в его кепке.

В комнате казалось, будто бой длится.
Я сидел у самого окна с краю.
Мимо стекол вниз
Спланировала птица.
Что другие видели, я не знаю.

Колокол, бросающий на лед деньги,
Ледяной калека, как укор свету,
Птица, как матрос, летящий с брам-стенги -
Верю в эту троицу. Рисуй эту.



Огромная река
И маленький челнок,
И, пущенный с мостка,
К нему плывет венок,
На воду тянет цинь
И скрипку с ним не в лад,
Но ветер порвался -
И все летит назад,
И все белей туман,
Все громче рев цикад
На тяге в тот карман,
Где спрятан водопад,
Где все сомнет вода,
Собьет в единый ком.
Но лодка и тогда
Не встретится с венком.



Бинт бумажный от рам
Отдирается с болью и пылью,
Дернешь форточку - сразу
Световая по комнате дрожь.
А над пасмурным озером
Ветрено хлопают крылья,
Поднимается в небо дракон.
Начинается дождь.

Жалко, что мы не осины, не тополи.
 Были бы стройными, были бы ясными.
 Мы бы пустеющий воздух заштопали
 Листьями желтыми, листьями красными.

Осень была бы спокойною, статною,
 Вовсе не страшною, раз не последнею,
 Мы бы не рвались в дорогу обратную —
 В жизнь нашу раннюю, в жизнь нашу летнюю.

Осенью едем назад в неизвестности:
 Может быть, смерть там, а может, Америка.
 Только об еще раз проехать то место, где
 Поезд идет возле самого берега.



Можно лес представлять, восседая в зеленой беседке,
 Можно перья собрать, можно жить в соколином обличьи,
 Можно даже понять, как охотники выглядят с ветки,
 Но когда в тебя выстрелят, — ты закричишь не по-птичьи.

Отодвинется задник, не станет деревьев прекрасных,
 Опрокинутся статуи, медленно свалятся маски.
 Будет самая вьсь, и не нужно ей даже согласных —
 Только воздух на выдохе, боль и певучие связки.



Саше Соколову

Сидим и ждем, как девушки в гареме.
Вот вырвемся - пожалуемся маме.
Ой, мама, пролетает наше время,
Как облака над блочными домами.

А мама занята. Пойдем в тупик!
Пойдем в тупик, заброшенная ветка.
На ветке почка - ржавый паровик.
А в тупике - дощатая манжетка.

В манжетке бьется фабрика - рука
С большой трубой. Дымок на черном дуле,
И из него, как медленные пули,
Все время вылетают облака.

Да нет, не облака, а пузыри.
Не пузыри, а, знаете, такое,
Как светлые глаза в часы покоя,
Как радуги, как оттиски зари.

Труба дрожит, выбрасывая в дали
Объемные, живые витражи.
А из чего их гонят? Не дрожи.
Мы не пришли бы, если бы не знали.

На пустыре нетронутой зимы,
На рельсах мы стоим вполоборота.
Ой, мама, раскрывается ворота,
Ой, мама, мы идем в ворота, мы...

Важней всего, чтоб сердце захотело
 От песни веселиться или плакать.
 Но мы во всем привыкли видеть тело,
 И песня без костей - всего лишь м

Я
к
о
т
ь.

Бескостной песне легче удается
 Меняться, увлекать, меняя лица,
 Но ей нельзя, ей незачем бороться -
 Ей можно только медленно с

т
р
у
и
т
ь
с
я.

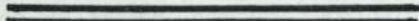
Мы любим в реках отраженья зданий,
 Мостов, деревьев, птичьего полета.
 И берега. Без этих очертаний
 Река перерождается в о

о
л
о
т
о

Почти для всех.
 И в море - для кого-то.



Целая вещь не поет -
 Дырочка звук создает.



ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

I.

Галку я не люблю, но дружу с ней. Почему? Не знаю! Не из-за "Цундапа" же, на котором нас часто катает Галкин брат Генка. Рокот мотора "Цундапа" я отличаю от рокота тысячи мотоциклов. Галкин отец привез мотоцикл с войны. На нем ездили немцы, которых убил Галкин отец. Немцы и есть немцы, во мне не возникает никакой жалости к тем, кого **убил** дядя Петя Щуклин. Но я не люблю разговоров о войне, потому что мне хвалиться нечем. Мой отец не воевал. В начале войны он был "врагом народа", потом у него была какая-то "броня" как у специалиста. Мой отец, Рамбовский, вык-рест, сын изпмана, умел хорошо считать. И, как говорил он, ему пришлось строить в Омске знаменитое Туполевское КБ, а потом налаживать снабжение строек, леспромхозов, организовывать на местах вконец разорившихся колхозов лесоучастки. Еще в начале тридцатых годов он был выслан из Ораниенбаума без права въезда западнее границы Омской области.

А нынче летом я дружу с Галкой еще и потому, что моя лучшая подруга Надя уехала на свидание к отцу в Омск. Отца ее посадили на пятнадцать лет за убийство, правда, несостоявшееся, да и имел он к убийству лишь косвенное отношение.

Когда Надя дома, я начисто забываю о Галке и ее брате, меня даже не привлекают поездки на "Цундапе".

С Надькой мы бродим по лесу, ловим марлевыми сачками рыбу в обмелевшей Ягодке, пытаемся "силить" шурят. Цедим львы, остающиеся после половодья по низинам, вылавливаем **рыбью** мелочь. Чистим свою добычу, пропускаем через мясорубку с луком и чесноком, заправляем костистый фарш яйцами, жарим рыбные котлеты на постном масле, разводим во дворе костерок. А когда он прогорит, закапываем чугунок с котлетами в горячую **золу**, накрыв его чугунной же сковородкой. К приходу Надиной матери мы отвариваем кастрюлю картошки в мундирах. Нам обязательно **надо** что-то приготовить к ее приходу. Она же обязательно привозит из лесу хоть пару пригоршней ягод. В июне это — земляника, черника, в июле — малина и смородина, в августе — голубика, брусника, клюква. Но самое

ценное - кедровые шишки. Мы с Надькой уже заранее чувствуем, что сегодня будут кедровые шишки. Тетя Галя лукаво улыбается:

- Сегодня ребята во-от такую кедруху завалили! - и достает из мешка фиолетовые в липких натеках смолы шишки.

Просто так самим до первого сентября шишки рвать запрещено, если попадешься с ними леснику - оштрафует.

И что нам с Надькой все забавы и игры, по сравнению с тем, как уставшая, искусанная комарами тетя Галя снимает свою робу, умывается и садится за приготовленный нами роскошный ужин, благодарно улыбаясь:

- Кормилица мои! - грустно говорит она и гладит нас по коротко остриженным на лето головам. - Дружите, девчонки, дружите, пока жизнь вас не развела.

- Она нас и не разведет! - хором уверяем мы, старательно уписывая принесенные ею гостинцы.

- Еще как разведет! Не зарекайтесь! - тихо говорит она. - Надошку-то учить некому, а тебе, Вита, есть за кем учиться.

Как не хватает мне Надьки. Но на днях я проводила подружку на пристань, и теплоход увез ее. Я была рада за подружку. Отца своего она не видала пять лет, а нянче ему дали свидание с семьей.

... Убийство, вернее, попытка убийства, произошла пять лет назад в Первомайский праздник и стала вехой в отсчете поселкового времени. В таких глухих поселках, как наша Малая Бича, отсчет времени идет не по календарю, а от события к событию. "Это было через год после того, как посадили Рослякова и Панкрачова".

Первомайский праздник начинается у нас тридцатого апреля торжественным собранием в клубе, набитом до отказа.

В начале собрания дядя Петя Цуклин хорошо поставленным голосом читает по бумажке: "Предлагаю избрать почетный президиум нашего собрания в лице Первого секретаря нашей родной коммунистической партии товарища Никиты Сергеевича Хрущева-а!", и зал не дает ему договорить, последний слог тонет в "бурных аплодисментах, переходящих в овацию". Все эти торжества, общее пение "Интернационала", какутся мне хорошо разыгранным спектаклем, уж больно все повторимо, как игра, но только в эти игры играют взрослые дяди и тети, и уже здорово пахнет "коммунизмом", "социализмом", "молодежью" и "досугом".

Утро Первого мая начинается пьяным ором хриплых гармошек, похабными частушками Винокурихи и Настьки Буровой. Пьянка катится от дома к дому, подолгу нигде не задерживаясь, но непременно теряя на своем пути в очередной канаве или колдобине одно из действующих лиц.

Дольше всех выдерживают, как и положено, гармонисты. Но к концу дня их гармонии могут выводить только первые такты "Подгорни". К вечеру непроставшиеся, ошалевшие от выпитой волки и браги мужики выбираются из канав и начинают задираться.

Нас, малышня, конечно, не трогают. Наоборот, из карманов для первого встречного пацана или девчонки, все равно своего или чужого, выгребается все: подтаявшие карамельки, мелкие деньги, пачки раскрошенного печенья, раздавленные шоколадные конфеты, плитки шоколада.

Друг Надиного отца, вальщик Росляков, ходил в тот вечер по поселку в поисках собутыльника, ибо один пьет только горький пьяница, каковым он себя не считал.

На одной из малолюдных тропок встретился ему новый плавный инженер (они у нас всегда были новье, дольше одного года, вернее — одной зими, почти никто не выдерживал), по фамилии Трошин.

— Разопьем! — предложил Росляков Трошину. — "Московская", без обману! — с трудом выговорил он.

— С вербованными не пью! — не совсем твердо парировал инженер.

Страшнее ругательства выдумать он, конечно же, не мог! Наверное, потому что сам был нетрезв.

В поселке все были вербованными, за исключением нескольких человек из начальства. Но и те по приезду получали подъемные, что приравнивало их к вербованным. Но попробуй, назови кого-либо "вербованным"! Тогда в ход сразу пойдет то, что под рукой.

У вальщика Рослякова в руках была полная бутылка водки. А полную бутылку в дело пускать грех. Выпить одному на глазах оскорбителя, тот не поймет в чем дело. Да и как пить одному?

Росляков смахнул с тропинки Трошина и направился к своему другу, вальщику Панкратову.

Тот пребывал с женой в пьяном любовном экстазе. Полог, завешивающий кровать, колыхался и вздрагивал. Надька с Вовкой сидели на другой кровати, забавлялись с котятками.

— Где ружье? — обратился Росляков к положу.

- На что тебе? - вопросом на вопрос отозвался Панкрачов, и за пологом стало тихо.

- Собаку одну пристрелить, кусается, сволочь!

- Смотри, мой не хлопни! - полог дрогнул, в щель просунулось ружье. - А жаканы в тумбочке. Бовк, подай! - приказал Панкрачов сыну.

Распечатав бутылку и отпив ровно половину, Росляков поставил бутылку на стол, подхватил дустволку и два патрона, заряженных жаканами для охоты на медведя.

Трошина Росляков не убил, а только ранил. Жакан скользнул поперек прочного инженерского дба, распоров кожу и опалив брови. В поселке привыкли к дракам, и, если все заканчивалось без жертв, до суда дело не доходило. Все решалось полюбовно, за дружеским столом. И потому-то суд восприняли, как забавное развлечение. Поселок был взбудоражен необычным восторгом события. Да и Надькин отец бодрлся, отвечал на вопросы с шуточками:

- Как было, как было... Чрездник был. Первомай. Я, это самое, лежу с женой. Ну, всем понятно, чего лежу. У пацанвы моей спросите.

- По которому разу? - доносится из зала зычный голос Вальки Смирновой, известной тем, что она записала своего мужа, немца Николая Фелингера, на свою фамилию. - Тоже у пацанвы спросить, по которому разу? Подмай, кого в свидетели призываешь?

Зал покачивается в хохоте. Напрасно председатель стучит карандашом по графину. Отхохотав, снова слушают.

- Собаку, грит, пристрелить надо. кусается! А что, рази мне время выяснять, кую собаку. Лиль бы мой не трахнул!

- По новой начали! - аж захлебывается от восторга Валька, а Надькина мать заливается краской стыда и опускает голову.

- не тужишь, Талка, где наша не пропадала! - басыт мать-одиночка частышка Бурова. - Эй ты - лучше быть Смирновой, чем ссыльной, ты, что, завидки берут? А кого завидки берут, того чужи мужики за титыки дерут! али твой Николаша, несмотря, что стал Смирнов, и одним глазом на сторону закосил?

- Ты у, дура! Если и закосил, так не на твои же мысли! А тебе, видать, все мужики свои! - уже без восторга отзывается Валька.

Дружинники без церемоний начинают выставлять нарушителей порядка. Скоро за дверью оказывается добрая половина зала, но

выстаивание за дверь не соглашается с дискриминацией. Они заходят с тыла, начинают давить на запасную дверь. Швабра, всунутая в ручку двери, переламывается, обе половинки двери распахиваются, толпа врывается в зал.

Когда обвиняли приговор, в зале словно холодом повеяло. Завила теть Галя, завили вместе с ней бабы.

— Так он же не при исполнении, он не сам пьяный был... — провалялся слово бабий вой резкий голос Вальки Смирновой и тоже сорвался на причитания.

Рослякову и Панкратову дали по пятнадцать лет.

Инженера Трошина мужики крепко отметили в ту же ночь. Больше в суд он подавать не стал. Он просто уехал из поселка с первым паровозом.

И вот теперь моя подруга уехала, а меня мама отправила в пионерский лагерь.

В пионерском лагере я пробыла всего один день. Кто только придумал пионерские лагеря? Это для чего же такое изгнание над людьми?! Во время учебного года надоели все эти: "Девочки-мальчики, в кружочек, в кружочек! Запевайте. Дядя в Ростове Витя Черевичкин, в школе он отлично успевал".

Медленное хождение "коулочком" по школьному задку переместилось на школьный двор. "Дети, дети, держите друг друга за руки! Не разрывайте цепь! Любимов, Бобров, куда вы? Вот-вот, давай, давай, в угол, в угол! Пытеев, не догай Бркову на золот, это тебе не вошки! Тоже — в угол! В угол до обеда! Дети, дети! Сегодня мы готовились к открытию смены. Когда открытие? Послезавтра! А сегодня порепетируем эту песню: "Прощай, лес грустой! Прощай, мамочка! Погибла дочь твоя, партизаночка!"

Чувство неловкости охватывает меня. Мне стыдно, всегда стыдно петь эту дурацкую песню да еще и на какой-то, почти частуечный, разукрашенный мотив. И слова-то какие! Ужас!

"Бурякова, ты что рот боишься открыть? Что молчишь? Не нравится песня ей! Ишь ты! Не для такой песни погибла Зоя? А для какой? Ну вот что, вырастешь, если наберешься ума, можешь, напишешь лучше! А пока пой эту, она в методичке рекомендована для пения! Понятно?! Песня ей не нравится! Не нарушай дисциплину!"

Мне ничего не понятно. Почему плохую песню надо петь и не

рыпаться, почему нельзя выходить за ограду лагеря одной, почему в столовую надо ходить строем? Может, и в туалет строем?

"Страмница! Страмница! Вот уж матери рассказать, как не поверит, что у нее, заветсадом, дочь такая страмница! А еще отличница!"

Господи! Как надоело все! Не хочу я больше быть отличницей! Пусть такие, как Галка, остаются отличниками. Она знает, где и как себя вести. Она уже успела подольститься к Светлане Васильевне, нашей воспитательнице. Пошла домой, будто за сменными носками. А так не умеет. Галка видит, что я снова в одиночестве, значит — снова начнет чем-нибудь отравлять мне жизнь.

При учителях она пай-девочка, а дома — совсем другая. Ходит пощипывать, как молоток в бане ее родители, родители майки Ахмедшиной, а потом рассказывает девочкам, что и как они делают в бане, кроме мытья. Она и меня тянула с собой. Но я не могу. Я не умею заглядывать в замочные скважины, маленькие пыльные окошечки бань и в чужие письма.

Галка отпросилась и удрила перед самым мертвым часом. А мы должны были лежать на кроватях и прилежно закрывать глаза, когда Светлана Васильевна заглядывала в дверь. Она скоро успокоилась и ушла вместе со всеми учителями, теперь-воспитателями, а учительскую пить чай.

Мы стали дисциплинированно ползать под кроватями, сталкиваясь лбами и обтирая майками пизь на полу. Кто-то кого-то щекотал, кто-то с кого-то сдирал трусы, чтобы поглядеть, что под ними. Уснувших обвязали штрейхбрехерами, привязывали простынями к кроватям, размалевывали им лица и ноги химическими карандашами, писали на лбу жирную букву "Ш".

С коние мертвого часа возвестил школьный звонок, и так изрядно надоевший за зиму, лагерь наш был организован "на базе местной школы". С полчаса в спальне царил неразбериха, кто-то искал обувь, кто-то пытался встать, но был привязан и вопил, как зарезанный. Потом все многоголосой толпой вывалились во двор.

Галка, хитро ухмыляясь, сидела под деревянным грибом, стоящим рядом с лагерьными воротами.

— Ой, чего я принесла! — тянет она. — А только покажу не сейчас. После ужина покажу, когда Светлана Васильевна уснет.

— Ну и ладно! — отварачиваясь я, стораю от любопытства, но не подавая вида.

За ужином Галка сидит с загадочным видом, я стараюсь не заметить этого.

А после отбоя, когда Светлана Васильевна, обрядованная тем, что ей попал такой послушный отряд, ушла спать, комната наполнилась тихим хихиканьем и шепотком.

Галка пустила по рукам какую-то фотографию, но пустила так, чтобы она не попала мне в руки. Девчонки, шудукаясь и ёркая, передают друг другу твердый прямоугольничек.

Я отворачиваюсь к стене. Мне нет до них дела. Ну и пусть себе! Хорошо, что моя кровать стоит у стены, я могу отвернуться и ничего не видеть. Но вдруг фотография ударяет в стенку над моей головой и падает мне на подушку.

В спальне светло. На дворе июнь, стоят белые ночи. Я разглядываю фотографию. Обнаженная белокурая женщина лежит в гамаке. Пухлые губы улыбаются. Длинные ноги чуть согнуты и прикрывают низ живота.

Я поднимаюсь и отдаю Галке фотографию.

- Ну и что?

- Я же говорила! Я же говорила! - Галка сгибается от хохота пополам. - Я же говорила... - захлебывается она.

- У нас тоже есть открытки, - пытаюсь объяснить за нее я.

- Ой, девки, я же говорила, что она не поймет, что ихние открытки тут ни при чем.

- Чего я не пойму? - недоумеваю я. - У нас есть открытки, там изображены статуи из Петергофа, из Ломоносова.

- Ой, - Галка аж взвизгивает, - я и забыла, она у нас благородная, в статуях разбирается... Ты что, дура? Дальше своего носа не видишь? Это же твоя мамаша! - Галка несколько разочарована таким поворотом дела.

Только теперь я понимаю и осознаю... Да, эта голая женщина удивительно похожа на мою маму. Те же светлые широко расставленные глаза, тот же небольшой нос с горбинкой, те же пухлые, крупноватые губы, те же ровные зубы, те же светлые чуть подвитые волосы.

- Дай, - протягиваю я руку.

Галка отпрыгивает в сторону.

- Не дам. Это - немка. Это - немка, - заводит она, - твоя мамаша - немка.

О-о! Галка умеет спланивать девчонок именно на такие пакост-

ние дела. Скоро возле моей кровати носятся девчонки и орут:

- Немка! Немка! Немка!

- моя мама никогда не была в Германии! - немотом говорю я и закашливаюсь, потому что горло у меня вдруг пересохло.

- А мы не знаем! - издевается Галка. - Мой папка эту фотку с войны привез, у того немца нашел, который на мотоцикле раскатывал. А твоя мать сама на почте говорила, что у нее тетка в Германии живет, в Гамбурге.

- Тетка же, а не мать! - уже ору я.

- Раз тетка там, значит и бабушка твоя там была, пока не померла, - куржится Галка. - А чего вы не уматываетесь в свой Гамбург? Гамбург, Гамбург, Гавнебург! - продолжает она махать карточкой у меня перед носом и, приплясывая, поет. - Город Гавнебург, не дойти ногами, не достать руками!

- И не остроумно! - кричу я и вцепляюсь в Галку.

Теперь мне все равно, кто на фотографии. Не все ли равно, кто. Эта фотография делалась не для чужих глаз.

Кто-то из девчонок перехватывает фотографию, когда я почти завладела ей. Беготня превращается в свалку, в которой и не разберешь, кто за кого.

- Это так-то они спят! - раздается над нами голос Нины Петровны. - Кто затеял драку? Неужели ты, Виктория?

Девчонки брызнули в стороны, через мгновение все снова лежит в кроватях, накрывшись простынями и дисциплинированно закрыв глаза.

Но Галка не успела спрятать карточку. Я выхватываю ее у нее и, пока Нина Петровна читает лекцию о том, как надо вести себя в общественном месте, выбегаю из спальни. Выскакиваю в открытое окно. Школьный сад благоухает яблонями. Они дружно цветут каждый год, эти яблони-дички. Они цветут белыми нежными цветами без запаха, но никогда не завязывают никаких яблочек, слишком морозны у нас зимы, убивающие завязи еще в почках.

Домой я пробираюсь огородами. Попутно забегаю в дощатую уборную в конце нашего огорода. Прячу фотографию в свой тайничок.

Нина Петровна нынче - начальник лагеря, а в школе - она моя первая учительница. Ее обязанность - следить за нашим поведением, а о провинностях и проступках докладывать матери, чтобы она приняла меры. Думаю, что если бы учительница знала, ка-

кие "меры" принимает моя мать, то она, прежде чем доложить о моих провинностях, может быть, "семь раз" отмерила. Хотя...

Нина Петровна поспела в наш дом раньше меня. Наш двор примыкает к школьному двору, учительница шла прямой тропой. Только она так ничего и не смогла объяснить маме, потому что не поняла, отчего я убежала. Меня же, чаще всего, останавливает не страх, а стыд.

— Почему вы дрались? — спрашивает мама, когда Нина Петровна удалилась.

— Так!

Мама бьет меня по щекам.

— Почему? Говори! Что вы делили? Что за карточку? Говори!

Я молчу. Мать снова бьет меня, пока отец не отнимает. Мать обрушивается на него с упреками. Мое наказание, как всегда, перерастает в семейный скандал. Я забираюсь на лежанку, сворачиваюсь в клубок, прикрываюсь старым пальтишком и лежу, слушая упреки матери, бурчание отца, а потом незаметно засыпаю.

Фотографию у меня не нашли, утром я сожгла ее, когда мама, пробопив в бане печку и сготовив завтрак, ушла на работу. Бумага на углях скрутилась в трубочку, тело женщины выгнулось, потом не стало видно лица, только рука, прикрывающая грудь. И вдруг все почернело, вспыхнуло, вместо фотографии осталась на углях белесая кучка пепла.

П.

Господи, какая скучища! От тоски и отчаяния я колочу пятками по тесу крыши. Бугорки мха отшелушиваются и с тихим шорохом скатываются на землю. Скуча и тошнота. Всего и развлечения! на сегодня — покупка хлеба. А потом? Что делать потом?

На рыбалку Юрка меня не взял даже за пульки для воздушки. Я их расходую бережно, не стреляю куда ни попадя. А часть берегу для того, чтобы покупать у Юрки рыбалку. Вот тут они у меня. Я перегибавсь через край карниза, засовываю руку за раму слухового окна. Достāju драгоценную коробочку. Свои пульки Юрка с Нединым братом, Бовкой, расстреляли давно. А я сохранила. Но мама запретила Юрке брать меня на рыбалку. Я наказана.

Мне скучно, ведь рыба, принесенная Юркой с Иртыша, почищена и спрятана от мух и солнца в холодный предбанник. Карточку

полоть еще рано, она только-только прокланулась влажными темно-зелеными лопучками, а поливка огурцов и прочей огородной мелочи начнется вечером. Вода греется в бочках, бочках, ведрах, корытах и тазах.

Иногда, можно бы найти занятие в доме: помыть пол или почистить посуду. Но зачем? Да и, честно говоря, я не люблю и даже боюсь наших сумрачных комнат. Зимой-то бывает некуда денаться, приходится терпеть, включать свет во всех комнатах, на всю катушку врубать радио. Если же станция не дает тока, то, возвращаясь из школы, я даже не захожу в дом. Тогда я могу с чистой совестью идти на работу к отцу. Там можно покрутить эрифиметр или "подавить клопов" на пишущей машинке. К маме на работу с тех пор, как я пошла в школу, мне запрещено строго-настрого. Дабы не подумали несужие умы, что заведущим подкармливает своих детей за счет детсадовцев.

Я не хочу быть в доме одна, когда еще и за капитальной стеной, отделяющей дом на две половины, тоже никого, а только мертвая тишина, наводящая на меня дикий ужас. Соседи на работе, мама на работе, отец на работе, а Юрка снова умчался на Артыш, снова выбачит. Зимой же он, обычно, носится где-то полудня в своей мальчишечьей компании, в которую девчонок не принимает.

Теперь я при доме вместо сторожевой собаки. Наша собака — лайка, а лайки добродушны, в сторожа не годятся. Летом же в поселке всегда много случайных людей.

Конечно же, я от скуки наговариваю на своих родных, будто они привлекали меня к дому. Сторожить у нас нечего. Могла и не сторожить ничего. Была же в лагере, да у меня вечно тридцать три несчастья. Могла бы маркировать вместе со всеми в столовку. Вон уже затрубил у школы горн, загрохотали барабаны. Сейчас пролагают пионеры юные-головые чугуны в столовку. Можно часы проверять — пятнадцать минут восьмого. Я бы тоже могла, как они, шагать по улице в белой кофточке, с красным галстуком на шее, в сатиновой синей юбке со складочками. Но теперь-то зачем каяться? Снова вспоминается прошедшее за эти дни.

— Ту-ру-ру! Бум-бум-бум! — неужели кому-то могут нравиться эти хриплые, однообразные и неумелые звуки. И вот так до самой столовой. Рядом с горнистом и барабанщиком вышагивает

Галка. Знаменосец. Только вместо знамени у нее в руках отрядный флажок. А все равно — знаменосец. Мы с ней в первый день несли флажок по очереди, в столовую — она, обратно — я. Теперь туда и обратно она будет нести флажок одна.

Они уже почти у нашего дома. Во мне что-то зрел. Рука крепче сжимает коробочку с пульками. Соскальзывая на чердак. Сквозь трещинки в крыше процеживаются тонкие солнечные лучи, кружатся палочки. На чердаке прохладно, пахнет березовыми ветками, какими-то травами и овчиной. В углу расстелен большущий дорожный тулуп. Там, под тулупом, у меня спрятана пневматическая винтовочка, которую отец принес весной. Я научилась хорошо стрелять. Как охотник складывающий дичь, подползаю к слуховому окну. Трясущимися руками вынимаю из коробочки три пульки. Хватит! Остальные — обратно в коробочку, коробочку прячу на место. Переламываю тонкий ствол, вкладываю пульку в гнездышко. Кладу винтовочку на узкий полочонник. Целясь. Вот она — Галка. Щелк. Пулька бьет Галку по щеке. Зопли, стопоптворение. Теперь уже не целясь! Где наше не пропадало. Щелк! Щелк! Воздушку под тулуп, сама в кучу веников на соседском чердаке. Ищите теперь!

Откуда-то появилась мама. Она должна была быть на работе. Здорово работает сарафанный телеграф. Да и маме тут лобезать — полста метров. Мама наспех обшаривает чердак. Она не верит, что это могу сделать я. Оказывается, я Нине Петровне попала в ухо. В большое желтое, как неумело сляпанный палец, ухо. И у меня в душе нарождается покаянное: я же не нарочно! Я не хотела! Просто не рассчитала траекторию полета! Неужели я иду ей за те яйца? Я не нарочно. Но кто поверит, что это так, когда я и сама не верю.

Ох уж эти злополучные яйца! Даже сейчас, по прошествии года, я представляю эмальрованное зеленое ведро, наполненное куриными яйцами. Мало ли яиц на свете. Ах, если бы на тех не было моей метки.

Нина Петровна недолюбливает меня, понимая, что я знаю, но молчу. Мне же нравится ее лупить.

В школе нас все время заставляют что-то сдавать. Макулатуру и металлолом, например. Бумага сваливается в школьном дворе возле мастерской большущей кучей. А с наступлением отопительного сезона истопники смывают ее потихоньку в прожорливых школь-

ных печках.

Металлолом тоже сваливался в кучу рядом с тербиконами макулатуры. В раке борьба за первое место ребятами стаскивали из кучи все, что под руку попадет. Разъяренные мамы, проклинающая очередное мероприятие, выбирали из этой кучи пропавшие из кухонь чугуны и сковороды, попутно отыскивая что-нибудь еще полезное и необходимое в хозяйстве. Вновь приехавший дядька выбирал из кучи лома детали от проржавевших кроватей, чтобы первое время спать не на полу, тем более, что кровати не всегда были в порядке.

Потом привозили представители из колхоза, читали на школьной линейке лекцию о пользе золы и куриного помета. Мы старательно оциклили курятники без вечного родительского понукания. А по очистке печник поддувал даже устанавливали очередь, опять же на радость матерям.

Под золу и помет ставились лари. Но ларя было всего два, скоро они наполнились и перешлались органическими удобрениями. И все это богатство, должно повисеть в просторные сушителюстных колхозных полях, можно под пологом, можно под солнцем, разносилось ветром по всему школьному двору, источая невообразимый аммиачно-щелочной аромат. Уборники дугались, огибая удобрения и звали. Но ветер упрямо разносил по двору золу и пропитанную аммиаком лядь. Потом все это богатство поливало осенними дождями, поливало снегом, а потом уносило со двора лютными весенними тучьями. И к середине лета обложные канавы вокруг школьного забора зарастали густым и жирным куриновым, на протяжении пол-года ползу органической подкормки.

В прошлом году мероприятия "по сдаче" достигли апогея. нас заставляли сдавать куриные яйца. По тридцать штук с носа. Вплоть до "неопуска на занятия" за недачу. Моя двоюродная сестра, колченогая Валентина, подвернув в луже большую ногу, надо того, что разобрала ее, — неосторожно падая, она "умудрилась" расколоть половину яиц. Она и упала-то набок от того, что пыталась слести яйца. Но ее слезы не смягчили наших учителей. Разбитые яйца в счет не шли.

Кур мы в то время не держали. Мама, напуганная всякими нововведениями и угрозами наказаний за неисполнение, хорошо наученная жизнью не рассуждать, а исполнять, купила на рынке шесть десятков яиц по цене пятнадцать рублей за десяток. Мы

с Юркой отнесли яйца в школу, получив от своих учительниц за них по четыре рубля семьдесят копеек за десяток.

Вечером того же дня я пошла за водой. Воду мы брали в школьном колодце. Идти к нему надо было по узкому коридорчику, отгороженному штакетным забором, справа — от школьного парка, слева от школьного двора. Коридорчик был довольно узок — только и разойтись двоим.

Мила учительница за две улицы от школы. "Что это Нина Петровна воду так далеко носит, или у них колодец засорился?" — подумалось мне в первое мгновение.

Но... метнувшийся в ее глазах испуг, насторожил меня. Потом учительница справилась с собой, глаза ее нагло прищурились, она умела щурить свои и без того узкие белые глаза нагло и презрительно. Так она и проществовала мимо меня, обалдевшей, одуревшей, окаменевшей от такой наглости. В ведре у Нины Петровны была не вода, в ведре у нее были отборнейшие, белейшие рыночные яйца. И на нескольких самых верхних моя метка — маленькая синяя буква "В".

Мама купила их на рынке на деньги, выкроенные из нашего скромного семейного бюджета.

К слову сказать, мамина зарплата в то время была триста шестьдесят рублей в месяц, отца — восемьсот пятьдесят. Брак наших родителей бы вторым, у нас еще было три брата и сестра от первых родительских браков. Они были старше нас. Эдик служил в армии, Галя и Владик учились в техникумах, Володя был инвалидом второй группы и медленно умирал от туберкулеза, приобретенного в армии. Отец Эдуарда и Владика, бросив их в войну, никакой помощи сыновьям не оказывал, а только просил маму не подавать на алименты, жаловался, как тяжело ему живется в благоустроенной питерской квартире, как он заботливо ходит по детским магазинам и "выбирает" костюмчики давно выросшим сыновьям.

Мои родители никогда не делили всю нашу кучу малу на своих и чужих.

Моя учительница имела зарплату шестьсот рублей, ее муж — мастер на лесоповале — получал не менее полутора тысяч в месяц, детей у них было двое, Нина Петровна имела возможность держать домработницу.

И вот теперь она несла к себе домой, своим детям яйца, купленные на рынке по пятнадцать рублей десяток, купив их у

меня и моих одноклассников по четыре рубля и семьдесят копеек десятком.

Кстати, и звали мою учительницу по-настоящему Ариной Парбентьевной. Но она считала такое имя и отчество неблагозвучными. А чтобы никто не сомневался в том, как ее зовут, выше локтя она сделала татуировку "Ирина".

Крику было, когда одна из моих пулек попала в ухо Нине Петровне, будто случилось убийство. И вскоре мама поймала меня с поличным. Она не пошла на работу, а спряталась в соседских сених. На третий день, проведя очередной обстрел лагерников, я решила спрятаться в соседских сених и... спустилась прямо в материнские крепкие объятия.

Ирина Петровна твердила, что я лгу ей за четверку по чистописанию. Но это была ложь. Четверка, я это трезво понимала, была с натяжкой. Но ведь что-то удерживало учительницу от того, чтобы честно поставить мне тройку. Не что-то, а яйца!

- У меня от яиц крапивница, а у вас? - спросила я зепотом учительницу, после того, как меня заставили извиниться.

Меня все-таки заставили извиниться. А кто и когда заставит наших учителей извиниться за всю боль, какую пришлось испытать нам от их доброжелательного деспотизма?

А потом мама была меня срученным электрическим тнуром, и боль от ударов была похожа на удары электрического тока. От каждого удара на коже вспухали алые рубцы. Мне было больно, я орала, как сумасшедшая. Орала и мать:

- За что ты ее так ненавидишь? Говори, что она тебе сделала?

Нет, учительница сама ничего со мной не делала. Но она давала другим повод унижать меня.

Мне было больно, я кричала:

- Мамочка, не надо! Мамочка, мне больно! Не надо, мамочка!

А потом мне уже не хотелось ни кричать, ни говорить, ни плакать. После нескольких ударов, я обмякла, безжизненно сползла на пол. И мать испуганно подхватила меня, горячую, обвисшую, и истушленно закричала:

- Доченька, открой глаза. Виточка, доченька, открой глаза! Ты слышишь меня? Скажи же, что ты слышишь меня! Прости меня! Господи, да что же это такое!

Но мне было уже все равно. Только на этот раз я проговори-
лась:

- У меня от яиц крапивница? А у нее?

- У кого? - допытывалась мама. - Ну скажи же, у кого, у нее?

- А у нее от наших яиц почему нет крапивницы, мама?

И мать, наконец-то, поняла меня. Но никому ничего не рас-
сказала. И мне приказала молчать.

... Отряды "под грохот барабана" приближаются. Мои руки
снова неосознанно шарят за рамой. Пульки на месте, но я вспоми-
наю, что винтовки нет. Отец сдал ее в контору и больше никогда
не принесет.

Сползав на чердак, чтобы меня не увидели ребята. Станов-
люсь на колени, утыкаюсь лицом в овчину тулупа и прощу:

- Господи! Если ты есть, накажи их! Накажи их, Господи!

- Ту-ру-ру! - горланит горн.

- Бум-бум-бум! - гремит барабан.

- Господи, накажи их! - скулю я, но вместо успокоения во
мне поднимается злоба. - Если ты не накажешь их, Господи, я все
равно им отомщу! Накажи же их, Господи! - уже требую я.

III.

Она появилась на нашей улице неожиданно. Но, вместе с тем,
ее появление легко объяснялось - пришло лето. Летом много приез-
жих.

- Мечутся люди, идут молочных рек с кисельными берегами, -
говорит мама, увидев новых людей. - Вот еще одни старатели по-
явились. Да где они, эти реки молочные? Где кисельные берега? -
как печально ее лицо в такие минуты.

А молочные реки с кисельными берегами бывают только в сказ-
ках, об этом знают все, даже такая фантазерка, как я.

Однажды утром, волоча из хлебного магазина сетку с двумя
горячими буханками, я столкнулась с ней в переулке. Сначала я
увидела толстенные косы, каких нет ни у кого в школе. Даже стран-
но: косы, ножки-соломинки, ручки-спички - все одной толщины.
Вернее, косы - толстенные, а руки и ноги - тонкущие. На ножках
черные мальчишечьи ботинки со сбитыми, но тщательно замазанны-
ми гуталином носами, белые носки-гольфы с синими кантами и си-
ними кисточками у колен, синее платье в белый горошек, оторочен-

ное по подолу и у горла синей оборочкой.

- Как тебя зовут? - без предисловий спрашиваю я.

- Ирма. Ирма Шнайдер. Но прежде надо здороваться, - вежливо говорит она.

- Ты латышка? - спрашиваю я.

Девочка мнется, потупившись, шепчет:

- Немка...

На меня это не производит впечатления.

- Немка Поволжья, конечно, - говорю я, изумляя девочку.

- Откуда знаешь? - спрашивает она.

- Я много чего знаю, - мама рассказывала. - А к кому вы приехали? - продолжаю я допрос.

- Ты мне не сказала, как тебя зовут? - напоминает девочка.

- Ни к кому. Мы сами, просто так, жить приехали.

- Меня Витькой зовут.

- Виктория, значит. У тебя красивое имя - Виктория, Вика.

- Витька привычнее. Значит, вы по вербовке приехали, - сообщая ей, а она молчит, словно не понимает. - Хочешь хлеба? - улаживаю я ее голодный взгляд, искоса брошенный на довесок, который я держу в руке. - Бери, - протягиваю девочке горбушку.

- Спасибо, - говорит она дрожащими губами. Горбушка лежит у нее в ладонях, словно младенец в ладье, она покачивает ее и что-то шепчет. Лишь потом вонзает в хрустящую корку крупные белые зубы.

Чтобы не отставать от нее, отламываю угол буханки и тоже набиваю рот теплым, кисловатым хлебом. И мне приятно ощущать на деснах уколы поджаристой корочки.

- Ты в какой класс пойдешь? - спрашиваю я Ирму.

- В четвертый, - нетвердо отвечает она.

- Просись в "А", я в "А" хожу.

- У вас хорошая учительница?

- А-а! Так себе, но в "Б" еще хуже! - выпаливаю я.

- Разве так можно о старших? - ужасается Ирма.

- Да ладно тебе, - отмахиваюсь я. - Посмотрим, что ты заповь об этих старших через годик-другой! - я задираю подол платья и показываю Ирме рубец от шнура.

- Это что ваши учителя так дерутся? - Ирма округляет свои и без того выпуклые глаза.

- Нет, это меня мама так за учительницу.

Я рассказываю новой подруге историю с ящиками. Она как головой, недоверчиво глядя на меня.

- Что не веришь? - обижаюсь я и хвастаюсь. - Зато она боится!

- Кто - она? - не понимает Ирма.

- Да Нина Петровна, наша учительница. Она мне многое и жалуется только тогда, когда я ее сильно допеку.

- Ничего себе - боится! - возмущается Ирма. - Она тесится, говоришь, а бьют-то по ее жалобам - тебя.

- Ничего! На мне все захлывнет, как на кошке, - смеется - да не гляди ты так на меня, мне, правда, уже не больно, показывая я подружку, увидев, что она готова заплакать. - У у Башников учительница - цура! А муж ее в тюрьме сидит вместе с Надиным отцом. Он человека хотел убить.

Ирма молчит, и я, ободренная ее молчалием, рассказываю иногда пошло похихикивая, хотя не совсем понимаю над чем, все было, как забирали мужа Росляковой, учительницы Башников и Надиного отца.

- Как ты можешь так? - удивляется Ирма. - А кто это -

- Моя подружка! Но ее отец не виноват! - убеждаю я во знакомую.

- Не мне и не тебе судить! - вдруг строго говорит Ирма. На то есть другой Судия!

- Чего? - изумляюсь я, глядя, как Ирма возводит глаза небу. - Бог, что ли? Так нет Его! Уж как я молила, чтобы он отомстил им всем за это! - я снова задираю подол и тычу пальцем в рубцы. - Если бы Он был!...

- Не надо! - кричит Ирма в ужасе, словно я ударила ее. Не оскверняй своих уст такими речами! Не тыль Нечистого! Или ты просила отпущения и своей матери?!

- Чего ты испугалась! - смеюсь я. - Мама я не хочу тебе жалко ее. У меня на нее злобы нет, просто обидно, что времени нет, чтобы выслушать меня. Чуть что - так сразу по рукам и бить начнет. А разберется что и чему - плачет, жалит меня. Но выяснять начинает всегда после порки. А если бы был, Он ей!...

- Прократи! - снова кричит Ирма и испуганно шепчет ч

- Кто ты делаешь? - удивляюсь я. - Молишься, что ли?

- Да, - твердо отвечает она. - Молюсь, чтобы Господь простил тебя! Ибо ты, как слепой, не видишь, что стоишь на краю бездны.

- Ну ладно, молись! - великодушно разрешаю я и сразу переключаюсь на другое. - А ты вшей не боишься? - я осторожно, словно боясь обжечься, трогаю ее длинную косу.

- Не боюсь! - отвечает девочка. - Бабушка знает траву, собирает ее, варит и мажет мне волосы перед баней, - она гордо перебрасывает косу на свою тощенькую грудь.

- Тяжело с такой гривой в жару! - насмешничая я, чтобы девочка не поняла, что я завидую.

- Зато косы - красиво! - протестует Ирма.

- Как зовут твою бабушку?

- Гертруда.

- Жену директора школы тоже зовут Гертруда Николаевна, - изумляюсь я. - А у меня бабушки нет. Она умерла, когда меня еще на свете не было.

- Потому ты и не умеешь молиться, - говорит Ирма сожаленче.

- Не много потеряла! - пожимаю я плечами. - Ладно, не буду, не буду! - успокаиваю я Ирму. - Надумаешь купаться, заходи за мной. Я здесь живу, - отворю и закрою я калитку родного двора. - Ух я местечко знаю, и не очень далеко идти.

- Мне, наверное, не разрешат. Ты одна иди, - потупляется девочка. - Дела много дома.

- А бабушка?

- Бабушка уже старенькая, ей нужно помогать. У меня еще пять братьев и сестер.

- Старших?

- Нет, младших. Три брата, сестра и маленькая сестренка. Мне пора идти, извини пожалуйста, - вежливо говорит она.

Она уходит, а я ошалело смотрю вслед. И, закурившись, мотаю головой. Открыв глаза, проверяю, может, я выдумала эту великую и чистенькую девочку. Но нет, я вижу узенькую спину, косы болтаются на спине. Они кажутся на этой узенькой спине непомерно толстыми, нереально толстыми и золотыми.

Новая подружка, в отличие от меня, не любит шумных игр. Тихе, спокойнее становясь с ней рядом и я. Иногда она рассказывает мне о Деве Марии, о плотнике Иосифе, о страданиях Иисуса на кресте, о Его Воскресении. Я слушаю ее рассказы с удовольст-

вием, как прекрасную и страшную сказку. Но мама почему-то не нашей дружке. Мама не очень любит Надю, но дружить с ней не прещает. Ирму же мама старательно призаживает к нашему дому

... Из поездки к отцу Нади привезла большой красно-синий мяч с золотистым пояском поперек тугого пузика, в цветной точке с пушистой шелковой кисточкой.

К ее возвращению закончился лагерный срок у Галии, она опять вьется вьюном вокруг меня.

- Дура ты, Витка, - притирательно говорит она. - У меня таких карточек много, баяя перефотал, и если бы я хотела...

- Ну и моти, - отворачиваясь я, не обостряя конфликта.

Два дня Надька носила свой мяч в сеточке, только потягивая, как мы играли в вшибалки старик, проколотый и во многих местах залатанным мячом. Этот мяч, наверное, сам не помнил, прыгал ли он когда-нибудь, позванивая при каждом ударе о землю. Теперь он глухо хлопал, как коровья лопуха.

На третий день Надька не выдержала.

- Давайте моим играть. Только ты, Витка, отпросись у матери переночевать у меня. Мамки сегодня не будет и завтра тоже, а я одна боюсь. Водка-то опять с Юркой рыбалить намывили - заканючила она.

- А где тетя Галя? - поинтересовалась я.

- Где? - хмыкнула Надя. - Влипла она, как муха в навоз. На фестиваль поехала.

- На какой фестиваль? - не понимаю я.

- Да это так говорят, что на фестиваль, а поехала в Ус Ишим - зборг делать. Не зря же к батьке ездил, - хихикнула Ирма стояя тут же и, казалось, не прислушиваясь к нашей болтовне, но неки ее вспихнули.

- Почему вы такие злые? И как ты можешь смеяться? Это грех, убивать живого! Почему твой отец позволил ей это?

- Почему, почему! - заржала Надька. - А она ему и не да ладывалась. Из что нам липкий рот? Да что ей впервой - ковыся. Тут хоть на бату можно слереть. А я думаю, что она еще него успела забрехатеть. Ну тебя, сектантка! - отмахнулась от Ирма и потащила меня к моей маме отпрашиваться.

Видно, тетя Галя с мамой уже все обговорили. Мама отлу

да меня, вручив большущий пакет с бутербродами.

В тот вечер мы играли долго, благо и загонять нас было некому. Одна только Ирма, как всегда, не играла с нами, а просто бродила по пустыре, иногда подавая нам мяч, далеко залетевший в заросли кустарников.

Но игра не клеилась, Надька привередничала. Она сама собрала команду из лучших игроков. И получилась игра в одни ворота. Надька же словно задалась целью вывести нас из равновесия. Даже тем, кто был в ее команде, стало скучно — какое удовольствие бить все время в кругу.

Галка, разогневшись, из всех сил ударила по мячу ногой, и он, блеснув на солнце золотистым пояском, исчез в зарослях дальнего угла пустыря.

Ирма привычно затрусилась за ним, долго лазила по кустам, подлезывала на лядошку и заглядывала следы крапивных ожогов.

— Ну где ты? — нетерпеливо крикнула Надька.

— Я не могу найти, — ответила Ирма, — мяча нет нигде.

Мы разобрались по пустыре и долго лазили по зарослям, но мяч словно сквозь землю провалился.

— Ты спрятала его, чтобы потом украсть! — накинулась вдруг на Ирму Надька. — Ты украла его! Держите ее, она воровка! Все немцы воры! — орала она и дергала Ирму за волосок. — Моя бабушка говорила, что все немцы гады! — она захлебывалась ругательствами. — Все, все немцы гады, поджигатели, сволочи! — из Надьки, как из худого мешка картошка, сыпались на голову Ирмы проклятия и грязные ругательства. — У, воровка! Бейте, ее ребята!

Война давно прошла, а ненависть осталась. Но ведь Ирма не такая немка!

Я знаю, что Ирма — немка Поволжья, что она, даже родством своим не имеет отношения к войне, как не имеет отношения к ней ее родители, бабушка и погибший где-то на Колыме дед. Они были немцы Поволжья. И я уже знала из маминих рассказов, чем стал для них сорок второй год. Их везли в холодных телячьих вагонах, в трямах барк на север, в лагеря и ссылки. Детей отнимали у родителей. Моя мама в войну работала воспитательницей в детском доме, где были дети сосланных и заключенных немцев. И задача воспитателей состояла в том, чтобы дети забыли своих родителей, свой язык, чтобы они забыли, к какой нации принадлежат. Чтобы

они выросли гражданами Советского Союза, людьми без роду и мени.

Но почему я молчу сейчас? Почему я позволяю Надежке ора? Что сдерживает меня? Строгий мамин завет не рассказывать ни ничего из того, что я узнаю от нее? Или желание быть такой, как все – безжалостной? Ведь я уже знаю, что бывает ситуация, когда прав один, а не б о л ь ш и н с т в о. Ведь со мной было уже это! Было! Что страшнее всего? Страшно, очень страшно, когда ты встаешь одна, смотришь на своих друзей и одноклассников, не видишь их глаз, видишь только затылки опущенных голов и лес, лес, лес, лес поднятых рук.

– Дети, кто согласен со мной, что лозунг к газете "Известия" взят из стихотворения А.С.Пушкина "Послание в Сибирь", а не строчка какого-то выдуманного Буряковой поэта Одоевского, поднимите руки?

И я вижу, как поднимаются руки и как опускаются к партам лица. Я иду хоть одного сочувствующего взгляда, хоть одного. Я смотрю на своих дорогих подруг, с которыми дружила еще в детском саду. Люда? И ты? И ты? И вы – Вера и Тамара? И вы – Зина и Нада?

На перемене Галка подходит ко мне и смеется:

– Мы все знаем, что ты права, но зачем тебе это? Она и Людке Тучериловой четверку вывела, потому что Людка ответила как ей хочется, а тебе табель может подпортить. Что ты пере ней книжкой трясла? Сборник стихов – не учебник. А в учебнике и вовсе про это нет. А ты еще и деликатничала, потихоньку обидела нас, чтобы не оконфузить дорогого учителя. Вот и получай!

И ведь было уже и Галкино: "Что же вы не уматываетесь своей Гамбург?"

А потом и еще учительницей: "Теперь евреям свободный проезд разрешен в Палестину. Буряковы тоже могут подавать заявление и уматывать к своим жидам!"

"Бери кол и дубину! Бери кол и дубину!" – звучит в моем сознании. Это же из-за них Юрка чуть не умер, когда сбили валенки и бросили босиком в сугроб. И тоже потешались и кричали: "Бери кол и дубину!" А учителя стояли на школьном крыльце и с добродушными улыбками смотрели на "резвящихся" детей. Там, в той учительской толпе была и Нина Петровна, та, которая и завуч – Валентина Васильевна.

Полгода Юрка лежал в больнице, три месяца при смерти. Не слишком ли велика цена молчания во имя будущего, которого может и не быть?

Но мама снова уговаривает нас: "Молчите, молчите! Особенно ты, Витка, знай твой лязчок! Молчи! Вам надо закончить школу. Во имя своего будущего, молчите!"

А что заставляет меня поднять осколок кирпича и бросить его, так же как все, в полудохлого от голода и болезни котенка? И только Ирму мечется между нами, хватает нас за руки.

- Ребята, не надо! Отдайте его мне! Не надо! Он же маленький! Боже Великий и милосердный, прости их, ибо не знают они, что творят!

- А мы и твоего Бога так же! - ржем мы, как пьяный сброд.

Потом, когда котенок уже мертв, когда он уже никому не интересен, я приду и похороню его, и буду плакать, буду уверять себя, что этого всего не было, не было, не было! И осознавать непоправимость содеянного, и сердце мое будет плакать и разрываться от жалости к этому холодному, беззащитному, безвредному существу, которое было бы счастливо, если бы его просто погладили по пушистой спинке, если бы его просто накормили.

И снова будет биться во мне непоправимое, неизбежное, ужасное: было, было, было! И это "было" станет моей болезнью, тошнотой и головокружением. Я буду лежать в жару, и отовсюду - из-за штор, с потолка, будут грозить мне, будут казнить меня страшные своей беспомощностью глаза забитого нами котенка: за что? И содеянное мной зло, как бумеранг, возвратится ко мне же - новым несчастьем, новыми отнюдь не занимательными приключениями.

... - Бей ее! - вопит Надька. - Бей, все немцы гады! Они всю Луковку сожгли. Они дедушку моего пытали, они мамку мою в Германию забирали, чтобы работала на них. Бей ее! Она - башистка! Она - сектантка!

Ирма стоит в кольце озлобленных, сверкающих глазами и зубами бесенят. Только бесенята могут так глумиться, гоготать и удалять. Голова и плечи девочки вздрагивают, в глазах слезы и вопрос того, забитого нами котенка: за что?

- Нет! Нет! - мотает она головой, дрожит худыми плечами, закрывает ладонями лицо и рыдает. - Нет! Нет! Нет!

Но Надька неумолима. Она первой нагибается за осколком кирпича. Град ударов сыпется на Ирму. Ноги ее подкашиваются, она

неуклаже опускается на колени, пряча в них лицо. Я содрогалась от жалости к ней и себе. И ... поднимая влажный комок глины. Я бросаю комок глины в дрожащую голову девочки.

Глазастая Надька замечает мой трусливый маневр.

- Глиной не больно! - вопит она и сует мне в руку обломок кирпича. - Бей, Зитка! Бей, чтобы ей стало больно!

Но я больше не могу.

- Кирпичом не буду, - говорю я своим голосом. Мне страшно своей смелости, я одна встала против всех. Почему одна? А Ирму делю к ней шаг.

- Если кирпичом, бейте и меня!

Это отрезвляет ребят. Меня бить не станут. Они отходят в сторону и совещаются. А я стою с опущенной головой, пишу на измятое, запачканное платье, на косы, к которым прилипла куски от брошенного мной комка глины.

Ребята возвращаются, окружают Ирму плотным кольцом и ведут ее домой. Я плетусь сзади. Я ненавижу сейчас их всех: Ирму - за беззащитность. Уж я на ее месте не прятала бы лицо в колени, я бы кусалась и царапалась. Надьку ненавижу вместе с всеми за то, что нельзя же кагалам - на одну. Это плохо!

Мать Ирмы встревожилась.

- Что с тобой, доченька?

Ирма рыдает, ребята орут так, что ничего не разобрать. конец-то все прояснилось.

- А чем Ирма виновата? - спрашивает тетя Берта.

- Я знаю, что она спрятала мяч, чтобы украсть! - напирала Надька.

Тетя Берта говорит с Лемой по-немецки.

- Нейн, нейн, мутти! - вздрагивая, рыдает Ирма.

Тетя Берта приносит книгу в сером затрепанном переплете что-то приказывает дочери. Девочка целует книгу.

- Она не виновата! - говорит тетя Берта. - Перед Богом не обманет, но мы купим для вас мяч. Чей он?

Мы молчим. Чего мы ждали? Мы уходим, нам стыдно смотреть друг другу в глаза.

На следующий день Ирма приносит Надьке мяч, молча кладет его на крыльцо и так же молча уходит.

А Надька радуется:

- Сматри, это же мой, мой мяч?

Но я молчу. Я молчу, потому что вижу: мяч другой, не Надькин. Тот был красно-синий, а этот, хоть и с таким же золотистым пояском, но красно-зеленый.

Я бегу за Ирмой. Пытаюсь уговорить ее снова поискать мяч, но она не соглашается.

- Не буду искать, - упрямится она. - Мама купила мяч, я отдала его Надьке. И она взяла. Ты понимаешь, взяла?! Больше я не верю вам. Потому что вы, русские, не верите никому, даже Богу! - выпаливает она и, уже отвернувшись, бросает через плечо. - Мне больше нельзя с тобой разговаривать, мама не разрешает. Мы скоро уедем от вас, вам некого будет обвинять фашисткой.

- Как? - хватаю я ее за руку. - Ирма, милая, куда вы уедете? Почему? - я не знаю, как объяснить, что я уже привязалась к ней. Как ей объяснить, то, о чем нельзя говорить вслух. Как мне будет без нее? - А как же я? - уже почти в горячке говорю я, смятывая горячий комок, который неожиданно подкатил к самому горлу.

- Не знаю, - смягчается Ирма, - нас обманули. Говорили, что мы сможем здесь скот держать, а теперь не дают сенокосов, волят и женщинам на лесосеках работать. А как наши маленькие будут без молока? На такую кучу-малу не хватает трех литров, да и молочница сказала, что мы можем брать у нее молоко - еще одну неделю. Ну а ты, собой и останешься! Ты без них другая, а про них - такая же, как они, жестокая! Как-нибудь все забудется. Но я буду молиться и за тебя, и за них! - совсем по-старушечьи утешает она меня.

Никто и никогда не говорил мне таких жестоких и таких добрых слов. И чтобы еще хоть на минуту удержат ее возле себя, я говорю:

- Ир, давай еще поищем этот мяч! Ну, пожалуйста!

- Нет! Если мы найдем, ты скажешь, что я подбросила. Если не найдем, будешь спрашивать, куда он делся. Тебе я тоже не верю. Утошала меня пирожками, но так, чтобы они не знали! А я не себе, я маленьким брала! - почти плачет Ирма и совсем неуверительно говорит о том, что больше не хочет со мной дружить.

Я понимаю - так хотят взрослые. Я знала, что Ирма берет у меня пирожки только потому, что маленькие ее братья и сестры голодны. Сама она вряд ли съела хоть один из них.

Только стеснительность удерживает меня от того, чтобы не

броситься ей на шею. Я медленно поворачиваюсь и ухожу, ухожу слыша у себя за спиной сдержанные всхлипывания Ирмы. Слезы застилают мне глаза, но я не вытираю их.

Я иду на пустошь, снова и снова брожу по зарослям лопухов и полыни, царапаю ноги о колючки шиповника и татарника. Пустошь, где мы играем улицей, огромен и густо оплетен по краям разными кустарниками и травами: полынью, крапивой, шиповником, волчьими ягодами, смородиной и одичавшим крыжовником. И все это растительное великолепие переплетено вездесущим и неприхотливым черным пасленом, попросту — бадяжкой. Спелые ягоды, попадая под ноги, брызжут желто-зеленой слизью и белыми семечками.

На воздухе сок паслена темнеет, скоро мои ноги покрываются черными пятнами. Задохнув, иду на задки низкого огорода мить в пруду ноги. Потом долго бью на плетне. Думаю. Плачу.

Что-то перепуталось в моей жизни. Да и не только моей. Жестокость превозносится как доблесть. Жалость кощунна. Мне все страшнее оставаться наедине с собой. И не могу нигде найти успокоения. Чем больше я мшу за зло, причиненное мне, тем страшнее становится жить, тем более жестокими ударами моя месть возвращается ко мне.

... Я больше не вижу с Ирмой. Лето тянется бескончаемой чередой пыльных и душных дней. — снова больна. У меня ангина, ко мне никого не пускают, да никто и не приходит.

А выздоровев и в холодное августовское утро, когда падает на траву первый предосенний заморозок. Встопице на крыльце я шуршу от солнца, от блеска росы на поникших травах и обвисшей листве кустов.

Заросли сорных трав в углу огорода совсем поределели, просвечиваются и просматриваются сквозь. И вижу в них свои грушки — потерянного и не найденного летом толчка, бумажники изпод лопухов, цветные карандаши и, когда-то брошенные в траву. Догдка осень лет меня.

Ноги сами несут меня на пустошь. И сразу же вижу мня. Мн^{то} — дурячке, некая его на земле, а он, словно в гнезде, похрюкивает в нутре от земли, на скверных смородиновых ветках.

Дни радости, потолования, счастья и тишины влетел у меня из пруда. И пустошь слезы, ребята. Звезда Бадяжки неслучайно мечется по нашим лицам.

- Пойдем к Ирме. Ты попросишь у нее прощения. А все попроси у нее прощения, - поправляю я себя.

- Нет уж! - упирается Надька. - К фавистке не пойду!

- Пойдешь, как миленькая! - я наступаю на испуганную, неуверенную Надьку. - Пойдешь! И она не фавистка!

Мы ведем повинную Надьку к Ирме. Я думаю о том, как засветится радостью ее синие глазки, как облегченно вздохнут мать и бабушка. Мне тревожно и радостно, как бывает всегда, когда происходит что-то хорошее.

Тропа, ведущая к дому Ирмы, светится нетронутой росой. Сегодня по ней никто не проходил, и сердце у меня сразу улетает куда-то вниз, в живот.

Входная дверь широко распячута. Кухонная - тоже не заперта, ее лениво колыхает утренний сквозняк, от которого хлопает и скрипит, издавая гулким эхом в пустых комнатах растворенные оконные рамы.

В доме пусто. В комнатах никого и ничего. По крашенным охрой половицам сквозняк гоняет клубки собиравшейся в войлок пыли.

Мы выходим из дому. Я все еще держу холодный мяч под мышкой, и бок нытит от него.

В глаза мне бросается колода и брошенный в траву шербавый топор.

Прыжок - и топор в моих руках. Мяч ловко ложится в углубленные борозды колоды.

Ударяю топором по мячу. Топор отскакивает и бьет обухом меня в грудь. Поднимаю топор повыше, размахиваюсь сильнее, крепче упираюсь ногами в землю. Теперь меня не собьешь отдачей!

- Что ты делаешь?! - орут мне ребята.

Они кидаются ко мне. Я замахваюсь на них топором.

- Не подходите!

Ребята испуганно пятятся, а Надька бледнеет и медленно опускается на колени, пряча в них лицо, совсем как Ирма, тогда...

Под вторым ударом мяч распадается на две половинки, с глухим вздохом вылетает из него воздух, словно выпущенный на волю озабоченный джинн.

- Пш-ш-ш!

Вот и все. Лоб у меня вспотел, ладони влажны, как после тяжелой работы, ненужный топор отброшен в траву.

... - Немцы вчера уехали. Все уехали, - говорит мне вечером мама, - их обманули с покосами, не разрешили строить церковь.

- Они и правда сектанты? - уже не удивляюсь я, а спрашиваю так, потому что надо что-то говорить, чтобы не заплакать.

- Не знаю. Знаю одно - они честные люди. Зря вы обидели Ирму, она н е м о г л а украсть ничего, потому что это для нее великий грех. Теперь они снова отправятся искать молочные реки с кисельными берегами, - грустно добавляет она.

Мама поднимает лицо от шитья, долго смотрит в окно на заходящее где-то далеко-далеко за Иртыш, за тайгу, красное неослепляющее солнце.

- Я пятый десяток разменяла, - снова задумчиво говорит мама, - но нигде не встречала таких сладочных рек. Чаще встречались реки кровавые, и все во имя будущего...

И молчу, смутно понимая, что мама снова говорит мне о чем-то, что тщательно скрывается от нас, детей.

В маминих глазах отражается солнце, гибкие осины, черемуха, рябина, все уменьшенное во много раз, но отражение обрисовано более четко, чем реальный пейзаж за окном. И мы с ней знаем, что за домами, деревнями, береговым срезом течет сейчас вечерний Иртыш, и вода в нем алая от закатного солнца. Она дымится, остывая, и туман, холодный, серо-синий, наплывает на берег, скрывает от глаз проливающих по реке людей, серые бараки на берегу, серые штабеля бревен, готовых к погрузке, людей в серых робах и ватниках...

- Больше встречается кровавых рек, - уже про себя, чуть слышно говорит мама. - И все во имя...

- Во имя чего? - спрашиваю я, мать не успевает ответить, я задаю новый вопрос. - Мама, а Бог есть в самом деле?

- А это для кого как, - отвечает она. - Верит человек - значит Он есть для него. Не верит - значит нет.

Но уже опомнившись, она склоняется над шитьем, и, не глядя мне в глаза, строго говорит:

- Забудь все, что ты слышала от меня, Вита! Никому не рассказывай. И того, что случилось с Ирмой, никому не рассказывай. Во имя своего будущего, забудь обо всем.

- А при чем тут Ирма? Да разве я смогу забыть о ней?

- Сможешь! Ты еще многое сможешь забыть, чтобы выплыть...

Я не знаю, настало ли время, когда я должна рассказать обо

всем, что было, во имя будущего. Все, что я должна была забыть, отложилось в моей памяти кирпичиками. А из этих кирпичиков выросла высоченная стена, которая должна быть разрушена.

И, может быть, благодаря Ирминим молитвам, Господь простер над моей грешной душой Всепрощающую Длань. И я прошу Его ежевечерне: Боже Великий и Милосердный, прости нас – грешных детей Твоих. Тех, кто ведает и тех, кто не ведает, что творит. Прости и меня за то, что душа моя столь долго была, как слепой у края бездны. И во имя нашего всеобщего будущего прости, Господи, нам всем мою Малую Бичу, мой Гамбург, мою Палестину, мою Германию, мою Россию!



Виктория Ионова родилась в 1950 году в Сибири.
Живёт в Смоленске.

ЛЮБОВЬ

В трех чашах воздуха ночного плача
 Вскользь крылышки шуршали слюдяные
 И усypали тихо, наудачу,
 Обломками, как бы случайно, плечи.

Отчаянные, леденя, враспынную,
 Катились листья, угли шелестели,
 И до утра митарствовал смьчок, земную
 Познавши осень в палой колыбели.

В землистом поле ветра, в середине,
 Они исчезли, и не знать нам боле
 Пришелся ли палач, — где на чужбине
 Эгейский холм и черный парус соли?

И как бы чешуя отпала, потемнев,
 От смутных глаз, и он прозрел, а море
 В окно стучалось, и безлюдный нефь
 Тянулся к чайке, синей — на просторе.

1986

Глеб Денисов



Е.С.

Прощай, Евгения, прощай!
 Нет гениальнее сюжета,
 Когда обходимся без жертвы
 И любим как-то невзначай.

Две опустевшие недели
 Насквозь промыты октябрем
 И, как воспитанные дети,
 Стоят, не помня ни о чем.

Руслан Миронов

Я дом вспоминаю на Лиговке, нет, на Обводном,
 Как яблоко напополам, на срезе ржавленной плоти.
 Два семечка в центре — горелые черные окна,
 А сверху мохнатая завязь антенны и словно

Я сам в этом доме прожил предыдущие годы,
 Там бежали, брнказа слезною, огромные доги,
 А я все искал на четвертом, на пятом, на третьем,
 Искал два окна, два единственных, бредящих светом.

И мне не хватало для детства частиц хлорофилла,
 Все было во мне, все, что чувствовал, но не всходило.
 А дальше не помню, наверное, рухнули стены.
 Свет брызнул в глаза, я движение первое сделал.

Руслан Миронов

Возвращение ей /отрывок/

Твой демон крался крышами домов, —
 Чердачный путь чуть ниже облаков.
 По ржавой кресте лез.

И голуби взлетали, зля котов,
 Клубилась пыль. Подпольный полонез
 Сквозь этажи рассказывал о том,
 Какие океаны за стеклом,
 И стекла прелезжали. Взаперти
 Он пел им, а тебе кричал: "Лети."
 Идешь?

А я запомню только жест.
 Пригрезилась ли мне в квартирной мгле,
 Но полонез звучал на каждом этаже.

Андрей Головин

ЦВЕТЫ

Цветы балкон заполонили,
 Большие ядички прогнили
 И растеряли чернозём.
 Цветы живут дождем и светом,
 Горячим светом и дождем.

Я вычисляю по приметам —
 Надолго ли к нам это лето,
 Надолго ль хватит нам тепла?

Цветы живут дождем и светом,
 Забыты в четырех углах
 Корявой ржавенькой оградки.
 Пыльца летит с небесной грядки,
 Срывает ветер лепестки.

На окнах сушатся носки,
 Из окон вылетают шторы,
 Слышны из окон разговоры,
 На подоконнике спит кот,
 Перспект углы домов считает,
 На переходе пешеход
 Свет безопасный ожидает,
 День проливается дождем...

Цветы живут дождем и светом,
 Горячим светом и дождем...

Юрий Дятлов

Нелепо ради будущего сада
 Чернить газоном свежим перспективу.
 Болотной ряской плавает досада
 На водной глади Финского залива.

Ценна возможность строить, не ломая,
 Но не хватает воздуха мудрейшим.
 Уходит дальше линия прямая
 И оставляет сетку новых трещин.

Сергей Смирнов

НУ и НЮ

I. Н У

Я сонливый и сугубый.
У меня есть голова.
Только ты не отвечаешь
На мои любви слова.

- Ничаво не отвечаю,
Потому что хорошо
Кушать кашу из бенола,
Что в шкафу вчера нашёл.

Я противный и притаорный.
У меня есть уха два.
Только ты не отвечаешь
Ни "хрю-хрю", ни "ква-ква-ква-".

- Ничаво не отвечаю,
Потому что очень в кайф
Пить компот из эфедрина,
Что купил позавчерай.

Я ванильный и вонючий.
У меня есть рот и глаз.
Только ты не отвечаешь
"ду из ху" и "вас из дас".

- Ничаво не отвечаю,
Потому что невдомек.
Тихо тапками качаю,
Улыбаясь в потолок.

2. Н Ю

Разговор зашел за полночь,
 За портьеру, за комод.
 Если ты мне не напомнишь —
 Я забуду про компот.

Мама спряталась за тучу,
 Спит фенол незнамо где.
 Пережив походку сучью,
 Ты идешь к своей звезде.

Ты идешь, не видя стула.
 невидимкой — простыня.
 И читал стихи Катюлла:
 У-ня, у-ня, у-ня-ня!

Ничего не отвечала
 Ты весь вечер потому,
 Что любовь твоя качала
 От другого к одному.

А ко мне совсем ни разу.
 Неужели я урод?
 — Быль скорей бревно из пазу,
 Оботри живее рот.

На губах твоих покуда
 не обсохло молоко.
 Ты енец, а я паскуда.
 Мне с тобой нелегко.

Я читаю не Катюлла.
 Мой любимец — Шастернак.
 — Ты и тут меня надула.
 Как и мог влюбиться, как?

Собираю я монетки,
 Ухожу я в пустоту.
 Засверкали мои пятки
 На эпохи этой — в ту!

Арсен Мирзиев

В недрах телефонного аппарата
сидела с детиньшими цикада.
Мой абонент уточнял уши.
Мой голос со временем звучал глуше.
Цикада, покнув, метнула тело
свое, ухо мое уделала.
Теперь пусть мой абонент врет!
Абонент моего абонента мертв.

Валерий Артамонов



смотрите Роголя! ему лишь
дешевые отпущены магазин —
куржкая шкелета улиц
и тушки душ влечетам,
Где влетают воздух слухи,
Где только тачает носы,
А на губах держат звуки
Космосов чужого сна,
Где только вадориня лат сосны
Внезаплетит любовь ноль,
Где очкавлетая, как реин,
дороги, срезанные вгробь.
А от усабной до усабьк —
маленьки сосны дозвон,
От нежить ного, ринать он,
до боли битые — со савьен —
д. носен в замк. носной.

Михаил Банзер

НАБРОСОКЪ АВТОБИОГРАФИИ
(СТИХИ 1988 ГОДА)

В.Кропину

Въ коменданскій часъ искусанные
пальцы барабанили
по клавишамъ милого Моцарта

Марія Луиза Кашницъ

На исходѣ совѣтской эпохи слышишь
смокла возня смертоносная
утрюмыхъ владыкъ
но что это болѣе властное насъ пеленаетъ
в сѣрый свой плащъ?

Да я не видѣлъ этихъ искусанныхъ пальцевъ
лагерныя гнойныя раны
в дѣтствѣ моемъ уже заросли
такъ кого жь обвинить мнѣ в томъ
что кисти безвольно поникли
и нѣтъ силъ разучить
на втиснутомъ в бетонныя стѣны
пiano "Красный Октябрь"
эту мелодію

Ливень ливень поить теперь эти нивы
эти забурьяневшія пространства
нашей послѣколхозной земли

И ВОТЬ ВЕСЬ МІРЬ - МОСКВА
(РЕ П Л И К А)

Когда народъ глаголь
который значить нѣтъ

Геннадій Айги

А.Маслову

И вотъ весь мѣръ - Москва
гдѣ августовскій свѣтъ
(храни Господь соборъ
незавершенныхъ лицъ)

Здѣсь августъ какъ ковчегъ
среди Твоихъ дождей
(но если это такъ
то отчего же дрожь?)

Храни Господь Твой мѣръ
въ кругу бульварномъ тамъ
гдѣ возложенъ вѣнокъ
изъ высохшихъ вѣтвей

ТЕРЦИНЫ НАПИСАННЫЯ ПО СЛУЧАЮ
ПРИБРѢТЕНІЯ АВТОМОБИЛЯ

nigrogumque memora, ..., ignium
Horatius*

и опять эта осень
и въ инеѣ мертвыя травы
и разсвѣтъ къ полудню все ближе

нагадай мнѣ
(кто это "ты"?)
которая станетъ послѣдней

нелегко вѣроятно

□ □ □ □

навсегда уходитъ въ это сѣрое небо

ты знаешь к срединѣ пути
размѣры стиховъ все ровнѣе все равномерней дыханье
каденціи глуше

такъ давай остановимся
протри запотѣвшія стекла

□ □ □ □ □ □

и расскажи что-нибудь
(смотри какъ пылаетъ вотъ тотъ фантастическій кустъ)
не дай мнѣ уснуть

* память о черныхъ (погребальныхъ) кострахъ
Гораций.

Борис Вахтин

ШЕСТЬ ПИСЕМ
/роман/

Письмо Первое

Сударыня!

Сегодня снова получил от Вас обычное для Вас несколько странное письмо, и, как всегда, почувствовал растерянность.

Безусловно, Вы женщина незаурядная. Ваш слог прекрасен, Ваши слова не однообразны, ассоциации всегда неожиданны и, вместе с тем, тактичны. О чем бы Вы ни писали — о горсти снега или о виде из Вашего окна, об интимной прелести, которая присуща откровенности незнакомых друг другу людей, или об огромной разнице перехода от бодрствования ко сну и от сна к бодрствованию — всё полно искренности, но искренности изящной, наблюдательности, но наблюдательности не претенциозной, ума, но ума свободного от восхищения самим собой.

Я живу на Большом проспекте, недалеко от угла Введенской, в большом сером доме, во дворе которого пекарня и всегда пахнет сдобой и мокрыми дровами. Напротив дом, над его воротами дата — 1954. И растерянность моя вызвана тем, что странно, очень странно, живя в доме, из которого видна эта дата, в доме, во дворе которого пахнет сдобой, получать такие изящные письма от совершенно незнакомой женщины. И уж совсем странно, что я пишу ей ответные письма, не зная имени ее и адреса, пишу и чувствую, что я взволнован, расстроган, влюблен, что я счастлив получать эти письма и надеяться, что однажды будет день, час, и миг, чуда, когда она откроется мне.

А до того мне хотелось бы рассказать Вам немного о себе, ибо я, как человек одинокий, сумел глубоко узнать только одного себя, а другие люди меня настораживают: я их не знаю, и мне кажется, что никогда не буду знать и понимать. Я даже поймал себя (и это случилось очень давно) на том, что предупредителен к людям и уступчив именно для того, чтобы они оставили меня в неведении о них, чтобы мне не пришлось вникать в их

действительную жизнь.

Как я установил, со всех сторон наблюдая и изучая себя, одна из главных сфер, где я живу, это мои мысли и мое, большей частью фантастичское и с чужой точки зрения, вероятно, пустоватое воображение.

Мне и хочется начать с рассказа о некоторых моих сегодняшних мыслях.

Не знаю, что Вы знаете обо мне, но, быть может, Вам неизвестно, что я работаю в Историческом архиве научным сотрудником. Слишком долго было бы рассказывать о той цепи случайностей, которая притащила меня в этот архив, о той цепи случайностей, которая удержала меня на одном месте, и о том спокойном удовольствии, с которым я откупаюсь именно этой службой от окружающего меня мира. Так вот, я работаю в архиве и ежедневно хожу пешком на работу всегда по одному маршруту. Этот маршрут долго вливался в меня: сначала он был мне интересен, затем наскучил, а сейчас снова становится мне новым, оборачиваясь ко мне столь многими фантастическими сторонами, что я немного даже испуган, особенно последним, на первый взгляд пустяковым происшествием, которое, однако, чем больше я о нем размышляю, тем больше кажется мне невероятным, неправдоподобным, а, главное, таким, что не соответствует современным взглядам и представлениям. Я почел бы себя сумасшедшим только потому, что верю в то, что действительно возможно было подобное происшествие, если бы одновременно со мной его не наблюдала девочка лет одиннадцати, которая-то и обратила мое внимание на всю эту невероятную историю. Но, простите, я отвлекся, об этом происшествии я решусь Вам рассказать когда-нибудь позднее, когда-нибудь, когда впечатления от него перестанут так беспорядочно волновать меня и я смогу описать его, владея им, а не подчиняясь ему.

Сегодня на работе у нас вымыли и оклеили на зиму окна, и чистые стекла, обрамленные свежей еще - белой бумагой, придали комнате, где я сижу, и всем нашим сотрудникам какой-то чуть-чуть новый вид. Тени стали менее глубокими, лица посветлели и подобрали, и я с удивлением понял, что думаю о том, почему я никогда не принимаю этих людей всерьез, почему мне всегда чувствовалось, что они сделаны, по крайней мере, наполовину из чего-то неживого, так что если их ушибнуть, то им не везде будет больно? В них мне виделось что-то игрушечное, кукольное,

и мне вдруг показалось, что они об этом догадываются. Они меня принимали все эти годы за своего, но чувствовали, что я не только их, но и еще какой-то. И мне стало казаться, что в грубой терминологии то, что я понял в день, когда у нас оклеили окна, можно высказать примерно так, что есть в нашей комнате два рода людей: материалисты, для которых мир действителен, реален, которые этот мир знают и понимают, умеют в нем разбираться и действовать, и не-материалисты, для которых все люди существуют лишь тогда, когда общаются с ними, а все остальное время как бы и не живут вовсе. Т.е. получилось у меня, что правы и те, и другие, ибо есть два мира, существующие рядом и никогда не смешивающиеся: мир идеальный и мир реальный. Это была новая для меня и интересная мысль, так как она объясняла мне, насколько важно не пытаться попасть из того мира, где ты оказался, в другой, а, напротив, возможно полнее жить в своем собственном мире, избегая взаимно болезненных столкновений с людьми из мира иного. Попасть и невозможно, а между тем огромное большинство людей стремится туда, куда они никогда не попадут. А это занятие томительное, разрушительно действующее, как мне кажется, на наши жизненные силы, превращающее нас в тех ноющих и жалующихся постоянно на что-то людей, которых так много развелось сейчас, особенно в среде образованной молодежи.

По случайной ассоциации мне подумалось, что наиболее простой способ заинтересовать собой собеседника — это начать соблазнять его попытаться перейти из одного мира в другой, не правда ли?

Я чувствую, что слишком многословен, но меня извиняет, как мне представляется, то, что, во-первых, Вы очень доброжелательно просили меня быть возможно откровеннее и не стеснять себя соображениями насчет Вашей возможной незаинтересованности тем, что я пишу, ибо, как Вы писали, Вы не относитесь к людям, ленящимся искать занимательность в безыскусной прямоте мысленного движения и кто нуждается в таких пустяковых вещах, как лаконичность, сюжет, неожиданный поворот повествования, загадочные персонажи и прочие побрякушки, совершенным мастером которых мне представляется, например, Диккенс. Во-вторых же — и это, пожалуй, главное — Вы до сих пор таитесь и не даете своего адреса, так что мои письма читаю пока я один, и это делает для меня приятным писать их долго и обстоятельно, так как

усиливает иллюзию обстоятельной беседы с Вами, насыщенной взаимопониманием и дружеским участием, которое является лишь малой частицей чувств к Вам.

Н.Треков.

Письмо Второе.

Сударня!

Сегодня я вернулся с работы лишь немногим позднее, чем обычно, и вот узнал от соседей, что перед самым моим приходом меня спрашивала незнакомая им женщина, которая тотчас ушла, узнав, что меня нет. И вот я сижу и с грустью думаю, что это, конечно, были Вы, и как неудачно, что я задержался на Биржевом мосту, глядя, как осенний лед наваливается на бревенчатые быки. У меня в душе было тревожно, словно я забыл что-то сделать, но я посчитал, что это вызвано ледоходом и мокрым снегом, напомнимыми мне, как много не сделано в жизни, как мало пришлось на мою долю дел и событий и как безвозвратно ушли от меня столь многие ледоходы. И я никак не мог понять тогда, что эта тревога вызвана Вами и осуждением того, что с Вами что-то происходит, что Вы где-то рядом. Как это жестоко, что Вы не подождали меня, и как это правильно и красиво! Я восхищен Вашим уходом не меньше, чем Вашими письмами: Вы заставили меня так много переживать, а стало быть, жить, что Ваш уход — это чудесный подарок, и я принимаю его, хотя и с долей горечи.

А сейчас простите мне эту откровенность и позвольте рассказать Вам, почему я считаю, что жизнь моя, столь богатая внутренне, была все же бедна событиями. Это небольшой рассказ о жизни одинокого человека (почему-то я не люблю слово "холостяк", хотя в эпитете "одинокий" есть нехороший привкус малобольности).

Как Вы, разумеется, знаете, любую жизнь можно рассказать, выделив в ней либо то хорошее, что было, и тогда рассказ будет светлым, либо плохое, и тогда получится более мрачное впечатление. Это относится и к каждому событию, даже к каждому настроению.

нию, ибо повсюду есть разное, а стало быть, и возможности разного взгляда на вещи. Следующее простое и свежее житейское наблюдение поможет мне уточнить это стелеченное рассуждение.

Когда соседи сказали мне, что Вы приходили и учили, то чувство горечи, охватившее меня в первую минуту, вызвало где-то в глубине души чувство досады на соседей. И вот память, спровоцированная досадой, стала услужливо постылавать воспоминания о всех стычках с соседями, о всех неприятностях, принесенных совместной жизнью с ними, и эти воспоминания усиливали досаду, и вот уже (и все это еще не осознанно для меня) соседи предстали мне чрезвычайно дурными людьми, и я в крайнем раздражении сказал им: "Как жаль, что она не подошла меня", — и пошел в свою комнату. Но тут я понял себя, проследил весь ход внутренней демагогии, и — от противоположного — виноватая память тотчас стала вспоминать всё приятное, что я пережил с ними, и они предстали передо мной как чрезвычайно хорошие люди. И все это в какие-нибудь пять-десять минут. Обычно стараются детски наивно добавить: "а на самом деле" соседи то —то и то-то", — но я давно понял, что это "на самом деле" не что иное, как иллюзия, от которой так же трудно отдалаться, как и от многих других иллюзий обязательского реализма, не понимающего, что такое движение вообще и движение человеческого духа в особенности.

Всё это я написал Вам для того, чтобы у Вас не возникло случайного впечатления, что мой рассказ о моей жизни есть нечто большее, чем настроение сегодняшнего вечера, вызванное Вашим посещением, Вашим существованием и той особой ограниченностью которую Ваш облик придал ледоходу, вечеру за моим окном и углам моей комнаты, где теперь живет нечто, неразрывно связанное с Вами, так что все, что меня окружает, представляется мне сейчас зеркалами, отражающими Вас, — ту, которая сейчас во мне.

Итак, моя жизнь, как она рисуется мне сегодня вечером, протекала быстро и печально в своей внешности, там, где видимые события.

Я родился в той же комнате, где живу сейчас. В детстве я рано научился читать и стал много читать — все, что попадалось под руку. Родные мои были люди очень образованные, но лишенные среды, достойной их, т.к. различные служебные и житейские неурядицы принуждали их к обособленности. Понятно, что они не могли не относиться несколько свысока, порою снисходительно, порою

даже враждебно к тем, кто не имел той духовной обогащенности, что имели они. И на мою беду их тон передался мне, равно как и их обособленность. Непосредственные впечатления и знания были у меня значительно беднее, чем сведения из других рук, и я смело говорил о предметах, о которых имел лишь самое неопределенное представление. Но в доме подразумевалось, что не знать, например, Стендаля могут только люди, которые хуже нас, а я не хотел быть хуже и не хотел принадлежать к тем, кто не "мы", и потому создавал видимость знания Стендаля, порождавшую зависимость мою от окружающих, ибо инстинктивно я чувствовал что-то неладное, и было важно подтверждение других, что все ладно, чтобы забыть чувство, что неладно.

Уже давно я одолел в себе стыд за самого себя, за незнание того-то, неумение того-то и неимение того-то, но мне дорого обошлось все это, и воспоминание об этом — одно из самых болезненных для меня до сих пор, и я всегда думаю об этом, как о чем-то стыдном и унижительном.

Но наряду с этим я очень чувствовал всегда простые вещи, которые не требовали от меня никакой натуги: сад, куда меня водили гулять, песок, в котором я играл, кота, которого по утрам я тихонько умолял прийти ко мне в постель, где я готовил ему удобное место, где я так ласково гладил бы его. И кот иногда приходил, и я помню до сих пор каждую подушечку на его лапах, которыми он мыл одеяло, прежде чем лечь. Особенно же любил я летние поездки в деревню — такие слова, как лес, речка, верба, челнок волнуют меня до сих пор. Очень волнуют...

Так сложились основания моего характера. И в результате я был на войне, но не знаю, та ли это война, которую знают другие; любил, но не знаю, любовь ли это; трудился, но не знаю, всерьез ли это. Я не побоюсь даже сказать, что жил и переживал, но не знаю, жизнь ли это и переживания ли это?

Такова и остается моя жизнь, когда за твердым покровом спокойствия и благорасположения скрыты недоумение, робость и какая-то виноватость. Недоумевая, я шел в атаку, недоумевая, лечился ранением, недоумевая, попал на работу в архив. Порою мне кажется даже, что то, что я живу в этом мире, — какая-то опечатка....

Но Ваши письма породили во мне чувства, неизвестные прежде: надежду на то, что появится рядом со мной человек, который

придаст мне уверенность в подлинности моего мира, человек, который сделает реальными пробегающие мимо меня тени, который спокойно скажет мне: "Ну, конечно же!" — в ответ на вопрос, есть ли действительно то, что есть во мне. Как это важно для меня — немолодого уже человека, не имеющего возможности прожить иначе то, что он уже прожил.

Такова моя жизнь, которую хотелось рассказать Вам. Впервые я рассказываю ее, быть может, оттого так сбивчиво и неясно, но пусть уж остается все, как рассказалоcь. Ведь и жизнь была прожита так, как прожилась — сбивчиво, неясно и без малейшей возможности переписать ее набело. Пусть же и рассказ о ней сохранит лучше искренность и жизненность первого слова, потеряв, разумеется, драгоценную стройность и слаженность беловика.

Простите это мнение, столь странное для историка, самая задача которого, казалось бы, и заключается в создании беловика минувшего.

Н. Грсков.

Письмо Третье

Мой дорогой друг!

Когда я разрешаю себе так называть Вас, я невольно думаю, как различны бывают слова, целиком завися от глубины понимания их теми, кто произносит. Эта моя мысль, как и все другие, нуждается в пояснении. Ведь когда человек совсем один идет по дороге, которую принято называть жизненным путем, его мысли становятся понятны только ему одному, ибо вся совокупность мыслей, в которую лишь частью входит эта отдельная мысль, хорошо знакома ему, и он не нуждается ни в тщательном формулировании частей, ни в заботливом соотношении частей: он всегда все знает из того, что он знает, ему достаточно лишь припомнить то, что он помнит.

У слов есть глубина еще более увлекательная, заманчивая и беспокоящая, чем морская. В слово можно нырнуть, но чем глубже вы уходите от поверхности, тем вам труднее, а хочется все глуб-

же и глубже. Или, быть может, лучше выразиться так, что у каждого слова есть тень, а в этой тени живут ассоциации этого слова, целая страна ассоциаций в тени каждого слова, и у каждого человека — своя. Есть страны пустые и нищие, есть противоположные им — словом, не стоит говорить, что страны эти весьма различны и разнообразны. Поэтому — то всякая словесная договоренность и всякое понимание по словам очень условны и приблизительны. Понимание по словам... Как много в таком понимании должно быть доверчивого непонимания, чтобы получилось понимание!

Я люблю побродить в тени какого-нибудь слова. И, может быть, Вы не осудите меня, если я скажу, что теперь излюбленная мною тень — это от слова "друг", что обращено к Вам. И сейчас мне хочется немного рассказать Вам, что же скрыто за оградой из четырех букв этого слова.

Прежде всего, в его тени существует особый аромат единственности, проникающей всё и убирающий из тени все обычные и пошлые ассоциации, которые иначе проникли бы в нее из того кладбища слов и их сочетаний, которое находится рядом с живой речью и литературой. Точнее было бы сравнить это не с кладбищем, а со складом облундирования, откуда каждый может получить стандартную вещь — слово, не наполненное личным переживанием и личными ассоциациями. Вред, приносимый этим складом, огромен, и судьба людей на земле была бы совершенно иной, если бы не было подобного кладбища, столь убийственно действующего на каждого человека, особенно в пору учения. В тени слова "друг", обращенного к Вам, нет ни "милого друга", ни "останемся друзьями", ни "больше, чем друг", ни "скажи мне, кто твой друг", ни желанного друга; ни таких более хитрых и живучих ассоциаций, как "утраченные иллюзии"; как "готовность на все ради" или как звуки марша.

В тени этого слова есть что-то совсем другое, и каждый час, проведенный мною там, приносит мне новые открытия, ибо я знаю лишь малую часть глубин этого слова. Эти открытия тем приятнее, что совершаются они свободно и без натуги и что чем больше открытий, тем больше становится область неоткрытого.

Я обнаружил в этой тени один из эпизодов моего детства, когда я и девочка, жившая по соседству, ушли без разрешения в лес за рекой и нашли там черепаху, медленно тащившуюся по

лугу из одной роши в другую. Я поймал было эту черепаха, но потом отнес ее в ту рошу, куда она ползла, и отпустил. И когда я присел и смотрел, как уползает черепаха, я заметил веточку ландыша под крылом листа - и это был первый ландыш, который я видел не в вазе, а растущим в лесу.

А совсем рядом в этой тени мне открылся другой эпизод: я вспомнил тяжелую массивную старинную с огромной ручкой дверь выходящую на лестницу. Напротив нее был камин, облицованный зеленоватыми плитками, поблескивавшими в полумраке лестницы. И часто, позвонив, я подолгу ждал у этой двери, и смотрел на облицовку камина, и видел в ней морские дали, лунную дорожку и те далекие страны, куда судьба предназначила мне плыть, забыв прислать за мной корабль.

И в этой же тени слышался торопливый стук поезда, и чувствовал я прохладу кожи, и дышал я синим небом. И узнавал я многое о слитных ритмах, об огромности человека и о том чудесном равенстве, когда я плюс не-я дает мое чистое я.

Но простите. Кажется, я до сих пор так и не начал письма - моя разговорчивость помешала мне, и я еще не пошел дальше обращения к Вам. Что ж, пусть это письмо так и останется состоящим из одного только краткого обращения "Друг мой!", в котором Вы, быть может, сумеете прочесть чувства

преданного Вам Н. Грекова.

Письмо Четвертое

Как удивительно, что Вы словно читаете мои письма к Вам, которые до сих пор лежат у меня нестравленные! Вы правы, я действительно хотел Вам рассказать кое-то, и это "кое-что" - тот эпизод, что приключился со мной недавно на обычном моем пути.

Хожу я всегда по Большому проспекту, потом у Тучкова моста сворачиваю к Биржевому мосту и иду по бульвару мимо цветочества, церкви и завода, а потом через Биржевой и Дворцовый мосты и Дворцовую площадь прихожу на работу, а вечером иду назад той же дорогой.

Именно на обратном пути все это и случилось.

Я шел, как всегда, спокойно и неторопливо, может быть, даже медленнее, чем всегда, так как тротуар был покрыт мокрым снегом, крупные хлопья которого валились и валились с неба. Мокрая каша снега чавкала под ногами, хлопала и разбрызгивалась, и я услышал, что кто-то идет за мной.

Вскоре его шаги захлопали рядом со мной, чуть-чуть сзади. Он с силой ставил ногу разом на всю подошву, и вот уже брызги — результат его неосторожности и небрежности — стали попадать мне на пальто.

Прежде случалось, что пьяные или просто недобрые люди приставали ко мне на улице. В их навязчивости всегда была известная истеричность и та слепота, от которой, очевидно, можно лечить только святой терпимостью или грубым насильем, вроде смирительной рубашки — средства, существо которых, как мне кажется, имеет немало сходного. И я всегда до последней возможности уклонялся от столкновения. Так и сейчас, я лишь ускорил шаги да пошел поближе к стене дома. Не помню сейчас как, но рядом со мной очутилась девочка, которую я и прежде знал — она жила здесь на проспекте, и я часто видел ее сперва очень маленькой, потом постарше. Брызги от шагов попали ей в лицо, она повернула голову, посмотрела на мои ноги, думая, вероятно, что это брызнул я, потом взглянула подальше, протянула руку и взяла меня за край пальто.

Я остановился, а она сказала, указывая пальцем на тротуар: "Смотрите..."

Я посмотрел и увидел к своему удивлению и совершенному недоумению, что за мной никто не шел.

А мимо нас прощелпали по тротуару одни только следы, словно прошел человек-невидимка. Но это не был человек-невидимка, так как он шел напрямик, проходя сквозь прохожих беспрепятственно. Девочка потащила меня за этими хлопающими и топаящими следами, и мы довольно долго шли за ними, отставая только на перекрестках, где мы пережидали машины, не препятствовавшие следам.

Но вдруг следы остановились, повернулись к нам, как будто кто-то стал к нам лицом. Мы также остановились. Я уже пожалел было, что увязался за следами, не оставив их простой непонятностью, когда вдруг следы сорвались с места и стремительно бро-

сидясь бежать от нас, оставив нас одних в том довольно пустынном месте, куда мы попали.

Чтобы отвлечь девочку от возможного и вполне понятного в ее возрасте страха, я принялся ей рассказывать волшебную историю, которую тут же сочинил на ходу, развивая какой-то эпизод из первого, что пришло в голову, — из "Снежной королевы".

Слегка приглушенно, словно схваченная настроением моего рассказа и тех мест, по которым мы проходили, девочка задавала мне вопросы, и постепенно у меня создалось впечатление, будто я предложил ей игру, условия которой она молча поняла и сейчас старается добросовестно в нее играть. Суть нашей игры была в том, что мы оба ни словом не намекали на то, только что случившееся, хотя я неотступно думаю об этом, а также о том, что и девочка, наверное, переживает этот непонятный случай, внешне ничем не выдавая себя благодаря нашей игре.

Такова эта история, которая, быть может, не годится для письма, ибо заслуживает рассказа устного, более подробного и умелого, но мне нужно было поделиться ею с Вами — единственным человеком, который слушает меня с пониманием и доброжелательством, по существу, единственным, в ком я надеюсь встретить и всегда встречаю ободрение и тот тонкий ум, которому будет понятно, как много значил для меня этот небольшой случай на моем обычном пути, причем понятно без губительных для настоящего понимания объяснений.

Хотя я и знаю, что Вы не получите этого моего письма, ка и предыдущих, но мне хочется поблагодарить Вас за внимание, с которым Вы выслушали меня, и сказать Вам, что истинное счастье я испытываю, получая от Вас письма, читая и перечитывая их.

Ваш Н.Г.

Письмо Пятое

Сегодня я воспользовался тем, что все мои письма к Вам и прежнему лежат у меня в столе, перечитал их и понял, что они представляют собой не что иное, как подготовку к этому моему

письму, которое после долгих раздумий и колебаний я решился Вам послать, т.е. пока что не послать, а лишь написать его в ожидании того момента, когда оно сможет попасть в Ваши руки.

То, к чему я бессознательно готовился, настолько же просто, насколько и непросто, а потому я еще не знаю, удастся ли мне сказать все кратко или потребуются длинноты, за которые заранее прошу простить.

С лестница нашего дома видна улица, и иногда я останавливаюсь на площадке третьего этажа и смотрю на троллейбусы, автобусы, на пешеходов, на огни, на весь этот, если можно так выразиться, суп, который кто-то мешает гигантской ложкой. Меня равно интересует и торопливая, уверенная в себе и довольная своей уверенностью молодежь, и люди средних лет с выгравированными на лице заботами, усталостью и однообразием занятий, и старые люди, ушедшие в себя и неторопливые. В движении улицы мне кажется что-то близкое тем белым кольцам, которые вьет в небе реактивный самолет, тем дрожащим линиям строк, которые набросаны в газетах, наконец, мотоциклетному тарихтенью и дрозанью.

Я вижу, что жизнь идет быстро, а я в своих размышлениях и внутренних переживаниях также иду очень быстро, но только идем мы с ней на одном месте.

И я перестаю смотреть на поток улиц и поднимаюсь к себе.

Теперь я не одинок в своей комнате — меня ждут Ваши письма. Я читаю их и перечитываю, и представляю Вас в тот момент, когда Вы писали мне. Я представляю Вас тонкий и умный профиль, неожиданную и острую манеру говорить, ту жизнерадостность, которая наполняет все Ваше существо, и Вашу исключительность. И мне становится совершенно ясно, что я давно-давно, еще задолго до всяких Ваших писем, искал Вас, тосковал без Вас, что Вы — это единственное, что мне нужно от жизни. Это единственное, что мне нужно от света в окошке, от воздуха, единственное, что созвучно переживаниям детства, моим мыслям сегодня. Собственно, единственное, ради чего я жил.

Вот и все, что я хотел написать Вам в этом письме. Остальное, надеюсь, Вы поймете.

Н. Греков.

Письмо Шестое и последнее

Многоуважаемые Клавдия Ивановна и Алексей Николаевич!

Мне, к моему прискорбию, совершенно непонятно ваше обращение ко мне, полное таких выражений, как "мы не то, ради чего Вы жили", "это не более, как шутка", "стиль, выражения и даже целые письма взяты нами из прочитанных нами недавно писем Каролины Бёмер", и с бесчисленными просьбами "извинить", "простить", "не сердится" и т.п.

Как вы далее пишете, вы живете в том же доме, что и я, часто наблюдали меня в окно и решили невинно поддуть, посылая мне письма, а под конец вам удалось проникнуть ко мне, прочесть мои письма, и тогда вам стало неприятно и совестно, и вы просите простить вас...

Я не понял ни слова, и здесь какое-то недоразумение. Мне совершенно не за что прощать вас, а вам нет причины просить прощения. Вы ни в чем передо мной не виноваты. Не знаю, удастся ли мне объяснить вам одно существенное во всем этом деле обстоятельство, а именно то, что — как ни странно это прозвучит — вас нет.... Вас настолько нет, что я не пошлю вам это письмо, хотя вы и даёте ваш адрес, отвечаю же вам лишь потому, что привык отвечать на все письма, даже если они приходят от тех, кого нет.

Я очень прошу простить меня, мне очень жаль, но я ничего не могу поделать — вас действительно нет, и это, к сожалению, не шутка.

Скоро я уезжаю отсюда вместе с той, которая, как я и ожидал, читая её письма, пришла разделить со мной мою участь. Мы провели в этом городе вместе несколько дней, а теперь уедем далеко-далеко в те места, где прошло мое детство, и где до сих пор, как я уверен, сохранился сад, речка, лес за речкой, и где теперь мы всегда будем вдвоем.

Примите мой привет

Н. Греков.

2. ЭХО. ЕСНО

26.

ЧЕЛОВЕК РАЗГОВАРИВАЕТ С ЗЕМЛЕЙ

земля, - спросил Михеев, - что тучной, вразброс стоят в садах. Убранство в них опрятное, ду- как далее, то чем дольше сло- и хуже это видно, сло- светлее и свет- не видишь ти не

От редакции: в 1979 году, завершая публикацию повести Бориса Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня", редакторы журнала "Эхо" /Париж/ Владимир Марамзин и Алексей Хвостенко сообщали:

От редакторов. Эта проза - одна из наиболее известных вещей русского литературного самиздата. В течение почти полутора десятков лет ходит она по редакциям, и не раз казалось, что будет опубликована, хотя бы с потерями. Однако этого не произошло, но зато за это время она неконтролируемо разошлась по читателям. Собственно, мы хотели начать с нее наш журнал. Однако текст, появившийся в наше распоряжение, представляет собой одну из тех случайных копий, что, возможно, далеко ушли от авторских. К сожалению, другой копии на Западе нет, и мы публикуем эту. Заранее просим прощения за возможные неточности текста.

1965

50

в 1969 году в предисловии Андрея Арьева к публикации этой же повести в № 9 журнала "Нева" /Ленинград/, предисловии, озаглавленном "Почва и судьба" /о прозе Бориса Вахтина/, читаем:

"Но где, например, произведения ближайшего к Вахтину, входившего с ним в одну литературную группу "Горожане" Владимира Губина, и по сей день живущего в Ленинграде? Почти никто /? - "Э"/ не ведает. Я уже не говорю о двух других "горожанах", Игоре Едимове и Владимире Марамзине, оказавшихся в эмиграции. Да и публикация лучших образцов вахтинской художественной прозы начинается у нас /? - "Э"/ только сегодня - повестью "Одна абсолютно счастливая деревня"."

К сожалению, в публикации "Невы" потерялся год написания повести - 1965.

1978 · PARIS · ПАРИЖ

СТИХИ О СЛОВАХ

Менялись дни, и возвращался снова
Давно уже отыгранный шахет.

Я бормотал: "Вначале было Слово,
И лишь потом желтеющий рассвет".

Но кто же помнит, что там поначалу,
Когда в разгаре игры о другом.

Слова, слова, слова... Идем мочалу
И заедаем черствым пирогом...



Неужели сначала? И снова слова -
Только бисер для первого ряда партера,
Для сочувственных глаз. Неужели права
Не туша, а сотканная сети химера?

Фонетический ряд и сонорный валом,
Разливающий рябь эссональных позторов.
Как Антей от земли - от себя. Подделом.
В ожиданье судьбы - целена разговором.

Божий промысел знать не дано никому,
Разве только случайно, каким-нибудь слогом
Чуть покров приоткрыть: неподвластно уму,
Но подвластно словам нас оставить залогом.

И пророков изгонят, затравят, убьют.

И еще по Суду мы считаем потери,

На себя примеряя казенный уфт...

А затем уже всем воздается по мере.

Пластини окон погасила ночь,
 И горед снегом маялся простудой,
 Дрипал трамвай и разбежался прочь,
 Как катафалк с разбитой посудой.

Отчаяно спит. Дневь под моим окном
 Бранятся люди, подуряясь вином.

"Другу стихотворцу"

Автологическое послание

Не пострадаешь — не поешь,
 Не станешь пладешким и ситым.
 Когда же соль проела плешь,
 Ума неслышно быть убитым.

Тогда бери свой чемодан
 И собирайся понемногу
 Увидеть чудо дальних стран,
 Торить известную дорогу.

Бодь так же солнце ввечеру
 Так отключает в экипаже.
 "И пальцы просятся к перу":
 "Судьба людей повсюду та же".



Не торопясь и торопливо,
 Но упираясь в тупики,
 Прошли по краешку отлива
 Уже на выдохе строки.

Дворы, помойки, кислый запах
 В гортани памяти несущи.
 Часы в остывших мапах
 Удержат время на весу.

Как наша жизнь непорочна:
 Вино и кружево измен,
 Так постранично и построчно
 Уходим, не касаясь стен.



Мы просыпали речь,
 Удержали лишь медометель.
 Не смогли удержать
 Разорвавшее пути столетье.

Затоптав жизнь
 И разведя по миру туманы,
 Как менял времена
 И некие листы протоколы.

Словно двери с петель,
 Сбегая вниз по ренессанс значений,
 И металась металл,
 Сметая следы сокращений.

У кирпичной стены
 Безымянные жерновы жули.
 Все слова сожжены.
 Кто услышит звенящий ули?

... и в городе мне страшно проходить
знакомыми из прагматичных дворами,
проспектами. Как будто последить
в музейном зале, где уже не нами
вздохнет январь; но кажется опять:
все лица переменится к апрелю,
и вопять велит умершее плечить:
пожелье снега, ветер кантели
и карусель событий и толгов.
Возможны варианты, чек не просят.
Надомолчали в царстве дураков —
договорим когда-нибудь, быть может.



Так ночь ненадежна. Дрожащие пальцы свои
Ведет по верхушкам деревьев, стучится в закрытые рамы,
Дрожит в сквозняках от холодной чужой нелюбви
И звезды торяет, и не доиграть мелодраме.

А нам утеяться колесницам жалким умом,
Нам ночь-оборзники, конечно, немощи с рассветом,
Мы заперли дом, мы закроемся пледом и сном,
Мы это читали, мы знаем, довольно об этом.

И жевит на окнах слушать надры и надсад,
Не стоим усилий на это выстраивать души,
Устали актеры, напрасно темнеет фасад,
И мечется ночь — с каждым разом все тише и глуше.

Марфа

А бедная Марфа хлопочет по дому
И новые блюда выносит опять,
Мария же Слово внимает благому,
А Слово никто не сумеет отнять.

Всё выпито, съедено, горы посуды,
До ночи уборка и стирка с утра,
А годы идут. В никуда. Ниоткуда.
Блаженна Мария. Лентяйка. Сестра.



Я не успел произнести ни звука.
Следы подков, обломки маяков,
Скрипящий голос: "Поделом и мука!"
И болтовня безумных стариков.

Шаманы, шабаш, шорохи истерик,
Хихиканье попавших на ковчег,
И палуба, похожая на берег,
И берег, раскачавшийся навек.

Цепляясь за осколки одичалых,
Рассыпавшихся смыслов, берегу
Уменьше пауз врачевать усталых,
Оставшихся на этом берегу.

ГЛАСНЫЕ



И СОГЛАСНЫЕ



"Поэт напишет о поэте..."СТРАСТЬ И СТРОГОСТЬ
/Владимир Матиевский/

Года за четыре до смерти он писал:

Удел поэта - страсть и строгость.

Неискончаемо. Всегда!

/На круги своя/

И жизнь его, и его стихи, - во всяком случае те, что сл-
дует отнести к недолгому периоду творческой зрелости поэта,
полною мерю отвечают жестким требованиям этой формулы; в ни
- единственно верное сочетание страсти и строгости - качеств
столь неудобосоединимых.

Пора зрелости оказалась для него до обидного короткой:
умер, лишь на четыре дня пережив свое тридцатитрехлетие. И в-
д не печально, что пора расцвета его дарования пришлось на вто-
половину 70-х - начало 80-х гг., период /казалось - геологич-
кий/триумфальных шестивей "умеренности и аккуратности", "врем-
скромности, выставок на квартирах, фотокопий и карикатур" /с
хотворение "Если хочешь, чтобы тебя выслушали..."^I

Владимир Матиевский умер 25 января 1985 года, вполне за-
луженно не увидев ни одной своей строки в повременных издани-
"периода застоя". И вот прошло три года^{II}. В литературной, да
не только литературной жизни общества ощутимы перемены. Факт
публикации - это уже не только и не столько своеобразный "ат-
тестат благонамеренности" автора, но мало-помалу он становит-
и фактом признания определенных художественных достоинств за
текстом, что подвергается публичному тиснению. Однако для Ва-
димира Матиевского ничего не изменилось. Имя его, как и преж-
остается в тени. Даже в пределах Ленинграда, в среде любите-
лей поэзии, оно известно в лучшем случае понаслышке. И поэто

^I См. "Сумерки" № 4, стр.76 (Ред.)

^{II} Статья написана в январе 1988 года. - /В.Б./

главную задачу "Слова о Матиевском" я вижу не в подробном изложении биографии поэта, не в углубленном анализе его творчества, но - в привлечении к его имени внимания тех, от кого может зависеть нечто большее, нежели перепечатка стихов на пишущей машинке. Понимая вместе с тем, что сами стихи справятся с подобной задачей гораздо лучше, остановлюсь на фактах жизни поэта, могущих для потенциального читателя его стихов представлять интерес.

Владимир Михайлович Матиевский родился 21 января 1952 года в Ленинграде. Среднюю школу закончил в 1969 году. До и после службы в армии (1970-1972, Сахалин и Камчатка) работал фрезеровщиком, стропалем, библиотекарем, грузчиком, а с 1977 года кочегаром в Зоологическом институте АН СССР. Стихи начал писать в середине 70-х. Чуть позже стал переводить англоязычных поэтов /Паунд, Йитс/. В начале 80-х приступил к переводу романа Сола Беллоу "Дар Гумбольта". Перевод остался не закончен. В 1975-77 г.г. посещал занятия в ЛИТО при ДК им.Ленсовета. В 1982 году был принят в члены литературного "Клуба-81". Каждое лето отправлялся путешествовать. Памир, Дальний Восток, Средняя Азия, Северо-Запад России, Волга, Закавказье - вот далеко не полный список мест, где он побывал. В 1980 году женился. В 1981 году у него родился сын, по отцу названный Владимиром. После 1980 года каждое лето он ездил на Белое море, на заработки. Умер Владимир Матиевский 25 января 1985 года. Похоронен на Ковалевском кладбище, недалеко от Бернгардовки, где по легенде покоится прах одного из его любимых поэтов.

Естественно было бы предположить, что поэт, собственные стихи которого насыщены "культурными" ассоциациями, переводчик таких "сложных" авторов, как Паунд или Беллоу, - происходит из "высоколобой" (насколько это мыслимо у нас) семьи "с традициями"; словом, он - интеллигент - и уж никак не меньше, чем в 3-м поколении. Однако это совершенно не так.

Он родился в рабочей семье. Дома был относительный, с легким оттенком опрятной бедности, достаток. И конечно же, здесь не было высоченного, под потолок, темного дерева книжного шкафа с непременно Брокгауз'ом и Эфрон'ом. Книги были редкостью. Поразительно, однако своих книг - не библиотечных и не взятых на прочтение у друзей и знакомых - у Матиевского не было никогда. Да и не только книг. "Я не имел вещей, /я не ломал их тел.."

(стихотворение "О моя бедняцкая душа!!..), - если это и гипербола, то с очень малой "степенью увеличения".

И не было - в юности - занятий в школьном литературном кружке. Да и какой "литературный кружок" в вечерней школе? А Матиевский после 8-го класса учился именно там.

Была улица. Сначала - глухие непервые линии Васильевского острова. Потом - пустыри в районе совсем еще не обжитой (середина 60-х) Пискаревки с жесткими нравами пригорода. След прямого "влияния улицы" - шрам на щеке - осталая у него на всю жизнь. И так, улица - с друзьями, приятелями и "дружками", футболом, драками, Галичем, Высоцким и "Битлз". Кстати, о гитаре. Она (а Матиевский на гитаре играл, и играл хорошо) практически никак не повлияла на строй его поэзии, - если под "влиянием гитары" разумеать определенное "выпрямление" ритмики стиха и эмоционально-смысловой "романсовый примитивизм".

Неизвестно, когда Матиевский начал писать стихи. Сам он об этом никогда не говорил, а прямой вопрос наверняка обратил бы в шутку, ибо при всей своей открытости две области: "личная жизнь" и "творческая лаборатория" - оставлял практически недоступными. Хотя интерес, с каким он, работая в Обменно-резервном фонде Библиотеки АН СССР, читал "Садок судей" или "2x2=5", выдавал нечто большее, нежели просто читательское любопытство. А первым на моей памяти (и, всего скорее, действительно самым первым) окажется стихотворение "Кёльн", написанное Матиевским на пари в конце 1974 года. Так или иначе, но начав писать очень поздно, свое двадцатипятилетие он отметил таким грустным "предварительным итогом" (и прекрасным стихотворением)

Vade месим^I окончился вдруг.

Дальше - полюшко дураково.

Говорят, ты закончил круг,
дожидайся другого.

Как давно мне пора навестать
эту мысль в моей жизни скалярной, -
что и я угожу на верстак
в хирургической и столярной!

^I Vade месим (лат.) - путеводитель (ред.)

... Между солнечных свежих стропил
 Я устал головою кадить.
 И стою, как Муму утопил.
 И не знаю, куда уходить.

(Двадцать пять)

Оставляя в стороне "общие вопросы неблагополучия в королевстве Датском на январь 1977 года" (месяц и год написания этого стихотворения), попытаемся понять, имелись ли у поэта какие-то личные основания столь невесело оценивать итоги "первого круга" своей жизни?

✂ ✂ ✂

Хочу сказать, что это фатум,
 Хотя — не без моей вины.
 /"Хочу сказать..." /

Едва ли возможно определить сущность человека одной фразой. Однако, если личность очерчена резко и ярко, появляется хотя бы вероятность существования такой фразы-характеристики. Но все равно, найти ее, — это, наверное, ничуть не проще, чем открыть-без единственного и к тому же потерянного ключа — нестандартный замок. (Разумеется, если ты при этом не профессиональный взломщик...) Матиевский... Я перепробовал множество "ключей" к этому "замку" — и чужих, и своих, пока не вспомнился почему-то Леонид Андреев: "Над всей жизнью Василия Мивельского тяготел суровый и загадочный рок". Да, вот он, ключ! Отпирающий. И — ничего не объясняющий... /Замечу, кстати, что Андреев отнюдь не входил в число писателей, особо любимых Матиевским. Он, "первый ряд", примерно таков: Достоевский /первый из первых/, Гоголь, Белый, Нибоков, Платонов, Томас Манн, Хаксли, Сол Беллоу, Оруэлл. Любил он и норвежцев: Гамсуна, Ибсена, Боргена/.

Матиевский был предельно чужд какой-либо мистики /в обычном ее понимании, — тот же Штейнер вызывал у него лишь эстетические ощущения/. Тем не менее всегда он ощущал почти физической присутствие в своей жизни /"тяготение над" по Леониду Андрееву/ некой мрачной предопределяющей силы, этого "сурового и загадочного рока", — и пытался, если не обуздать эту силу /"От судьбы не уйдешь!"/, то хотя бы постичь ее природу, дать своеобразную "клиническую картину" этого "тяготения" /стихотворе-

ния "Бесы", "Желчно с миром рядится хаос...", "Злой старик" и другие).

Стыдно и больно сейчас в этом признаться, но вопреки самым очевидным фактам казалось мне (да, наверное, и не только мне), что многое в его стихах – эпатаж, романтическая игра в "проклятость" – и не более... Казалось – до 25 января 1985 года...

Выказывал себя этот "тяжелый и загадочный рок" весьма разнообразно. Зачастую проявлялся в форме прямо-таки фатального невезения. Иногда рядился в одежды "черного юмора" и позволял даже поиронизировать над собой. Однажды, как тайфун, принял женское имя. Но год от года все чаще являл свое подлинное – злое и тяжелое лицо...

Несколько фактов. Каждый из них в отдельности кажется случайностью – и порой малозначительной, но когда таких фактов столько, – поневоле "стечение обстоятельств" назовешь судьбой – и заподозришь ее в каком-то недобром умысле.

1974 год. Будучи прекрасно подготовлен, Матиевский не поступает на исторический факультет ЛГУ. Он не успевает переписать набело сочинение, тема которого (!): "Лучшими минутами своей жизни я обязан литературе" (Салтыков-Щедрин). Любопытно, что свою работу он посвятил полемике с этой – если вдуматься – своеобразной декларацией эстетизма.

1975 . Неудачный роман, "цитатами" из которого пронизана вся лирика Матиевского. "Н.Л." его посвященный не появился даже на похоронах поэта, – прислав 10 рублей "матпомощи" "семье покойного".

1976–1978. Поэзия Матиевского феноменально быстро набирает силу. Руководитель литобъединения не скупится на приватные похвалы. Этим его реальная помощь молодому поэту и ограничивается. В то время, когда более покладистые и стоворчивые "дарования" хоть как-то, да печатаются, для Матиевского наступает пора "успеха у богом"; успеха, истинные масштабы которого он сам определяет так:

Если б я имел хоть одного слушателя,
нужного мне по-настоящему,
я б ходил, улыбаясь,
лужи деля,
наделяя каждого отстоящего. /"Если б я имел...

В 1979 году умирает мать Владимира. Он долго оправляется от удара. Страшное и мужественное в откровенности своей стихотворение "Я смотрю довоенные снимки..." — об этом.

1980-1984. Постепенно, как он не слишком весело шутил, двукратное латинское "aut" ("Aut Caesar, aut nihil") сменяется двукратным же английским "out" ом. Количество оригинальных стихов год от года уменьшается. Поэт занимается переводами. Один из известных ленинградских переводчиков, заочно познакомившись с некоторыми работами Матиевского, советует ему переключиться на французскую поэзию, ибо "переводами англо-американских поэтов ленинградское отделение Союза писателей не занимается". Анекдотически заканчивается для него единственная в жизни попытка выйти на кого-либо из "мэтров". Разговор с маститым московским писателем, уверяющим (правда, в стихах), что дверь его жилища круглосуточно открыта страдающему человечеству, — разговор этот происходит на пороге означенной либеральной квартиры — при неотомкнутой дверной запорке...

Еще в середине 70-х, во время путешествия на Памир Матиевский заболел желтухой. Но пролежав в больнице всего несколько дней, он совершает оттуда самый настоящий побег... А недолеченный гепатит становится хроническим. И вот летом 1984 года на Дворцовом мосту у него горлом хлынула кровь; с каким-то весьма невнятным диагнозом он снова попадает в больницу... Жаркий июльский день. Мы с товарищем навещаем Матиевского. Он предлагает совершить прогулку, и подводит нас к бреши в больницы ограде. Несколько секунд — и мы на... кладбище. Прохаживаясь в больничной пижаме вдоль могил, он шутит по поводу "столь удачного соседства двух этих учреждений". Смеемся — но каждому немного не по себе. А Матиевский тем временем с улыбкой рассказывает о своем первом "литературном" заработке: какому-то московскому полупроходимцу-полууродивому он продал за 300 рублей все свои стихи — и право авторства на них.

Конец декабря 1984 года. Болезнь как будто отступила. Матиевский у меня в гостях. Около полуночи он отправляется домой. Но едва мы успеваем открыть дверь в подъезде, как перед нами падает кирпич. Мы долго смеемся, — ибо все дома вокруг, включая тот, из которого мы вышли, — панельно-блочные...

И вот события 1985 года. "В жизни так не бывает": в начал

января совершенно нелепо погибает жена Владимира. А 22-го мы встречаемся последний раз. Он держится мужественно, несмотря ни на что "предполагает жить", выкуривает "последнюю" папиросу и пачку отдает мне. Но увы, у пушкинской формулы есть и вторая часть. И никому неизвестно (знала об этом, вероятно, лишь его жена), что уже полгода, как он приговорен, что каждый новый день - лишь отсрочка "приведения приговора в действие". Что эта "последняя" папироса - действительно последняя в его жизни.

Он родился 21 января - в день смерти Владимира Ульянова, прожил 33 года и умер в день рождения еще одного Владимира - Высоцкого, 25 января. Кажется, и здесь "тяжелый и загадочный рок" постарался сделать всё возможное, чтобы имя Матиевского осталось в тени.

В одном из последних своих стихотворений он писал:

Я сегодня пью и ем,
я приятель разных братьий.
Завтра-буду убиен
или разобьет кондратий.

/"Речь освещена Вламинком.."/^I

Действительно, "братьи" были очень разные. И поминки вечером 28 января 1985 года проходили одновременно в трех различных местах. Но я не знал и не знаю человека, который относился бы к Матиевскому без симпатии. Да такое, наверно, было и невозможным.

Однажды поздним вечером, почти ночью (было это осенью то ли 1976, то ли 1977 года) мы сели в электричку на Финляндском вокзале. До отправления поезда оставалось несколько минут. Мы с приятелем вышли покурить, а Матиевский остался в пустом вагоне один. Надо сказать, что весь день он был чем-то подавлен, - молчалив и неприветлив... Вдруг раздался звон разбитого стекла. Вбежав в вагон, мы увидели Владимира, стоящего у пустой оконной рамы. Рука его была в крови. И он улыбался - смущенно и как-то даже беззащитно. Почти одновременно с нами в вагоне появился милицейский патруль. И - поразился я этому потом, а тогда всё воспринималось, как должное, - посмотрев на Матиевского, на

^I См. "Сумерки" № 4, стр.80 - (Ред.)

разбитое стекло – и снова на Матиевского, один из патруля, очевидно Главный Милиционер, объяснил нам, где на вокзале находится травматический пункт – и удалился, увлекая за собою младших по званию милиционеров. Удалился, ничего у нас не спросив – и не "приняв мер".

Была ему присуща и не менее редкая на фоне повсеместной нетерпимости и односторонности широта, отчасти – та самая "русская широта", которую, как полагал его любимый писатель, "надо бы обуздать". Тем не менее в области этической (точнее сказать, социально-этической) на смену этой "стихийно-диалектической" широте со свойственными ей издержками – внезапно приходил некий моральный императив:

Только...гордость, преданность и нежность
никогда не будут на весах...

/"Ты забыла слово Послушанье.."/

"Делайте, как я говорю, – и не делайте, как я делаю" – основополагающий моральный принцип "эпохи застоя" был чужд ему предельно. И "эпоха" ответила на это полной взаимностью.

х х х

Поэзия Матиевского. Совершенно сознательно, отнюдь не из стилистических соображений, говорю "поэзия". Девальвация этого слова в современном языке очевидна. "Поэзия Блока" и "поэзия Сидорова" (Иванова, Петрова) мирно сосуществуют. Ощутима только как бы количественная разница: так, если "поэзия Блока" имеет потенциал в 95 неких условных "поэтических единиц", то "поэзия Петрова" (Иванова, Сидорова) заключает в себе полторы или две, но точно такие же "единицы". Хотя совершенно ясно, что существуют "поэзия Блока" и "стихи Иванова" (Петрова, Сидорова) – ни в какие количественные отношения между собой не вступающие. И вот, отдавая себе самый трезвый отчет, говорю: "поэзия Матиевского".

В своей самой "программной" и одновременно "итоговой" поэме "На круги своя" он писал:

...твой идеал –
кровосмешенье всех поэтов.

Не впервые в русской поэзии нашего века высказывалась подобная м.сл. В 20-е гг. о "преодолении односторонности поэтических школ" громкогласно заявляли конструктивисты, параллельно

в Петрограде ученик Гумилева по "Цеху поэтов", оригинальный и совершенно забытый ныне Сергей Нельдихен формулировал идеи "литературного синтетизма". Правда, спустя полвека, в середине 70-х, вроде бы и не было уже никакой нужды "преодолевать односторонность поэтических школ", ибо таковых в дружной "стране Поэзия" "по определению" не было - и быть не могло. Тем не менее оставался богатейший и противоречивый опыт русской поэзии первой трети века, - существовал уже не как противостояние различных школ, но скорей как множество индивидуальных стиливых оппозиций. И само наличие такого опыта предполагало (и предлагало) выбор одного из трех различных путей. Первый из них - "верное следование" одной из традиций (в идеале преследующее цель "перетереть Терентьева", говоря словами еще одного полузабытого поэта 20-х гг.). Второй путь - механическое соединение тех или иных стиливых элементов, своего рода "прибавление дородности Ивана Павловича к развязности Балтазар Балтазарыча". Так, я прочитал недавно, что "поэт Н. опирается на традиции Есенина и Маяковского". И, наконец, имеется третий путь: поиск "органического стиля" ("литературный синтетизм", "кровосмешение"), - попытка снятия противоречий "односторонних поэтических школ" на новом уровне поэтического мышления. Понятно, что подобный синтез под силу только таланту. Более того, сейчас это, наверное, - единственный способ "появления на свет" крупного поэта.

Можно - с большей или меньшей степенью достоверности - выявить те или иные "компоненты" "синтетичной" поэтики Матиевского. Но нужно ли это, во всяком случае здесь и сейчас? Матиевский прекрасно знал русскую поэзию - и классическую, и - вынужден воспользоваться бранным словом - "авангард". Следует сказать о мощном влиянии опыта Хлебникова, раннего Маяковского и Пастернака на формирование Матиевского как поэта. Затем произошел довольно резкий сдвиг "вправо" - и наступила "эпоха Мандельштама". Но нередко талант и интуиция опережали опыт и знание. Так, с "поздним" Кузминым Владимир познакомился уже в начале 80-х, то есть когда были написаны практически все его стихи, по мастерскому владению разговорной интонацией близкие Кузмину периода "форели". При жолании образная система поэзии Матиевского во многом может быть возведена к "позднему" Шершеневичу ("Итак итог"), - неслучаен был интерес Матиевского к

русскому имажинизму, неслучайно и обращение, как переводчика, к творчеству Эзры Паунда. Но последняя, бесспорно лучшая (а, может быть, и единственная книга Шершеневича, представляющая интерес не только для историка литературы) известна Матиевскому, судя по всему, не была. Берусь утверждать, что Матиевский не был знаком с творчеством С.Нельдихена. (Здесь, кстати, я ничуть не противоречу себе, только что утверждавшему, что Матиевский прекрасно знал русскую поэзию. Дело в том, что Нельдихен – своеобразная "лакуна" во всех без исключения исследованиях поэзии 20-х гг.). Тем не менее очевидна близость ритмических конструкций в верлибре и даже определенная общность "содержания" у этих поэтов. Впрочем, оба они не были чужды уитменогумилевских традиций, что, скорей всего, и явилось причиной тех или иных "совпадений". С другой стороны, если у Нельдихена герой, "естественный человек", зачастую скрывает трагическое мироощущение под личиной полудиота (чем предвосхищает поэтическую практику ОБЕРИУ), то в лирике Матиевского вместо маски "дурака" – открытое (и часто – искаженное, но не презрительной усмешкой, а подлинной страстью) "широкое площадное лицо" ("На круги своя"). Подчеркиваю – в лирике, ибо стихи Матиевского несмотря на философскую "осложненность" (зачастую в духе "философии жизни") и некоторую "негативную" публицистичность – прежде всего лирика, уникальная по оголенности чувств и незащищенности. И вот что удивительно: эмоциональность на грани взрыва ("Или это все чувства надсажены/от усилий дойти до черты.."), предельный (иногда кажется – экспериментальный) накал страсти ("Плачу и рыдаю. Один на городском пляже.."), – никогда не переходят в область мелодрамы, лишь порой разрешаясь сентиментальной (в стерновском смысле) иронией:

А в сердце, в сердце – словно девять Надсонов
втыкали розы в тридевять петлиц.

/ "О смерти.."/

И помогает в этом безупречный поэтический вкус. Вкус, который, наверное, еще более редок, чем сам талант.

Несмотря на мрачный колорит многих, особенно поздних стихов Матиевского, – в них нет ни мазохического упоения тьмой и своеобразного смакования ее оттенков, ни весьма свойственного поэтической "контркультуре" любования своей отверженностью. Не настроения "Пира во время чумы", но мужественное, экзистен-

циальное – если угодно – противостояние "Чуме" присуще его поэзии. Отнюдь не случайно для Матиевского такие стихи, как "От святыхн он отмахивался...", "Баллада или "Гемма", где воспеваются не застольное приятельство, но мужская дружба (тема чуть ли не "запретная" для "второй культуры"). Однажды с пафосом он воскликнул: "Вот бы оду написать!.." И развел руками. Помню, как его чуть не до слез расстрогало уитменовское "О, я хотел бы сложить о радости песнь!" Более того, в стихах Матиевского такие слова, как "красота", "радость" или даже "идеал", – лексика, казалось, навсегда отошедшая к "придворной" поэзии "социалистического символизма", – обретает как бы второе рождение. И это во время повального увлечения "эстетикой уродства"! (в лагере "второй культуры", разумеется). "Ленинградское чревоуещание" кочегаров, вахтеров и "сторожей, зачитавшихся Олешей" было ему ничуть не ближе официального гимнопевчества. Но если второе решительно не принималось, к первому он был достаточно снисходителен. Недаром его любимым писателем (и во многом – Учителем – в высоком, "старинном" смысле) был Достоевский, крупнейший путешественник по отечественному "подполью". И меньше всего в этом снисхождении было инстинкта самосохранения (ведь формально кочегар Матиевский был полноправным членом общества "Ленинградских чревоуещателей"). Кстати, переводя один из сонетов Шекспира, он заметил: "Любопытно, а переводят ли английские кочегары Пушкина?..."

Лирику Матиевского отличает удивительная, совершенно естественная чистота, не имеющая ничего общего ни с "либеральной фривольностью", ни с казенным пуританством, где сквозь наивно-розовый косметический слой словес то и дело проступает подозрительная сыпь: то ли симптом нехорошей болезни, то ли след принудительного воздержания.

Впрочем, здесь не место детальному анализу поэзии Матиевского. Да и не хотелось бы навязывать читателю (буде таковой объявится) свой взгляд на нее. Одно бесспорно, – она требует отдельного обстоятельного разговора. Единственное, чего никоим образом не следует ожидать (и тем более – требовать) от стихов Матиевского, – так это "чистоты звука" – приятной, как бы итальянской открытости слога – тех самых достоинств, органично присущих русским "малым поэтам", как писал Манделштам. Работа шла в ином направлении. Даже в стихотворении "Песенка" вместо ожидаемой

"складности" (название предполагает!) – внезапно раздается косноязычный, варварский каламбур: "Всякий вытащить топор тщится..." Обилие смысловых и звуковых "сдвигов", сложный ритмический рисунок стиха, интеллектуальные "отягощения" – всё это, как я уже не раз убеждался, сильно осложняет восприятие поэзии Матиевского. Но, сдаётся мне, что если это и беда, то беда не поэта, а читателя.

Матиевский замечательно читал стихи – свои и чужие: страстно, но без малейшей аффектации, полностью раскрывая все интонационные возможности читаемого. Здесь тоже можно говорить о "синтетичной" манере, взявшей лучшее от двух противоположных – "актерской" и "авторской". К счастью, сохранились магнитофонные записи его чтения.

* * *

Трудно, да и невозможно с уверенностью сказать, как бы развивалось творчество Матиевского, если бы не преждевременная смерть. Существует мнение, что оно, возможно, вышло бы на какой-то иной качественный уровень. Действительно, есть ощущение, что вслед за первым и "второй круг" жизни остался у него позади. Однако я этого "качественно иного" уровня не представляю. Впрочем, говорю только о себе. Как уже известно читателю, последние 3-4 года жизни Матиевский гораздо больше времени и сил отдавал переводам. Но, с другой стороны, очевидно, что это было скорее актом отчаяния, нежели "браком по любви". Может быть, впереди была бы проза. Перевод романа Беллоу – косвенное тому подтверждение. В таком случае 25 января 1985 года – дата печальная вдвойне. Ибо зная характер творческого дара Матиевского-поэта, нетрудно предположить, что и в прозе голос его тоже был бы вполне "узнаваем".

Валентин Бобрецов

Ленинград

январь 1988

Владимир Матиевский

Поцелуя ли почва влажная
или дождь в полях ^Калить...

Неужели и это — блажь моя,
достоянье сует суеты?!

Очерчу себя чертой города,
чур меня!
и дорог — ни одной...
Отчего, лягушонок, скоро так
черною
я испуган листвою...

Что-то мы будем делать зимой?
Мы так плохо выговариваем слова,
лягушонок, маленький Квазимодо,
вот ты и начинаешь: — Ква...

Отправляйся-ка к морю
дорогой прямою...

конец 70-х

НА КРУГИ СВОЯ

/три отрывка из поэмы/
I

Кого ни повторяю...то есть
я ничего не повторю
из тех вещей, что скорый поезд
внушал охоте и псарю.

Я, применяясь к сотне правил,

одним похмельем жив и свят.
 Убой отчизны мне оставил
 на новой полке старый взгляд:

Когда российским хороводом
 бегут березы, дол, столбы,
 когда весна грядет по водам
 и зелены ее следы,
 когда нелепый вид становищ
 символизирует приезд,
 меня уже не остановишь,
 в плачевный не внеся реестр;
 во-первых, и от века пресных
 свобод, придуманных самим,
 свобода — во-вторых, и в трезвых
 мне не бывать. Я пью в помин.

...Казалось, что горел камин...
 Ты знаешь... у печи поленья
 не вызывают умиления,
 и эта мрачная зола —
 распад двух зол:
 добра и зла,
 которые пойдут по ругани,
 и омрачатся вечера,
 и в горло, медленно, по рукоять
 войдет желание...вчера
 весна разыгрывала Брута,
 тем тяжелей оно вошло, —
 сосредоточенно, как будто
 тяжеловес на эшафот.

2.

Когда потеряна тропа лесная,
 а городская проклята черта,
 как имя Господа, себя не зная,
 ты все говоришь: Моя мечта...

Когда с огнем надолго путь потерян,
найди поводья, не прекословь...
Каким ты представляешь новый терем?
Ты все говоришь: - Моя любовь.

Любя предмет, люби и тень предмета...
Твой идеал: или пришлец извне
или кровосмешенье всех поэтов
при Боге или Сатане...

Твоя мечта: - в стене открытье лаза
в края, где б смог ты нищий и босой
просеять небеса сетчаткой глаза,
впитать морей аттическую соль...

3.

Заридит дождь косою саженю,
смывая старое дерьмо.
Собрать стихи, предать сожженю,
и написать одно письмо!
Проститься в нем не слишком льстиво
- /зачем любителю пяти
больших картин и примитива,
все эти искусства
в пути/
где горы гордые как горцы
сошлись в недвижимое каре,
и пал один, и вот уж овцы
кишат как черви на горе.

Взгляни как камни лихорадит,
как верен свету каждый шаг.
И будь прекрасен, Бога ради,
о Бога ради, только так!

Взгляни на этих скал отрогость:
внизу - река,верху - снега.
Удел поэта - страсть и строгость.

Неискончаемо. Всегда!

„ДЕТСКИЙ САД“

Юрий Галецкий - мл.

МОЙ ПАПА

Сочинение на тему "Мои родители"

Папу я помню очень, но виделись мы с ним редко. Папа у меня человек, в гордом смысле, только немножечко идиот. Когда я прихожу к нему, то знаю, что будет много чего интересного. К папе приходят замечательные люди. Дядя Лао, который играет и поёт музыку, когда приходит, садится как будто он цветок, а папа поливает его из леечки, и оба смеются. Это у них называется дзень. У дяди Лао что-то не так с шариками. Не то чтобы их не хватает, объяснил мне папа, но их слишком много. А это, Клавдия Аристарховна, тоже тяжело, когда много. Мама говорит, что и у папы очень-очень много шариков, и все воздушные. Она удивляется, как он до сих пор не улетел. Я спросил об этом у папы, и папа задумался, а потом сказал со свойственной ему гениальностью, что надо ещё немного шариков надуть, и как раз этим он сейчас занимается. Я попросил папу позвать меня обязательно, когда он полетит, но забыл спросить куда. И у дяди Лао много шариков, папа говорил, что ещё больше, чем у него, но я не знаю, почему тяжело, когда много, а не наоборот, ведь с шариками легче. Хотя лучше больше, чем меньше, как у дяди Мити Волчека. Папа много пьёт, а когда сказали, что жизнь это норма трезвости, он как-то странно захихикал. Но дядя Митя пьёт больше папы, приходит, ложится и начинает читать про непонятно что,

а потом спрашивает папу: ну как, нравлюсь я тебе? на что папа отвечает по-французски, чтобы я не понял, а дядя Митя говорит ему: сука ты, Галецкий! — и засыпает. Дядя Митя тоже милый, только у него не все дома, а те, которые дома не в своём уме, как говорит папа, а я согласен. Ещё к нам приходят разные люди, и но эти все ненормальные, однажды был Родион, тоже психик и часто бывает дядюшка Майкл со смешной фамилией, который немножко не в себе. Что вам ещё рассказать про моего папу, и сами знаете, когда увидели его однажды, а потом заболели, просил папу, чтобы он приходил почаще, но он ответил очень вежливо, по-французски, а вы больше не просили, чтобы он приходил, шёл, как я ни старался. Ещё папа неравнодушен к маленьким девочкам. Люблю маленьких толстеньких девочек, говорит папа, разговаривая вслух, особенно с хреном. Он как увидит маленькую девочку, сразу становится ласковый и весь сияет. Мой папа очень добрый, он любит играть с девочками, а потом пишет свои стихи про бога. Об этих стихах Давид Гошо пишет потом по-французски там у него есть такие слова: загадочная улыбка русской души. Мне они очень нравятся. Он приезжал к нам, и они с папой говорили и пили что-то зеленое, а потом профессор сказал мне тетя: мальчик, если бы все были как твой папа, так сказал профессор, то больше бы никого и ничего не было, но я так и не понял, хвалит он папу или же ругает. Они там у себя все так делают. Мы их никак не поймем, чего они хотят, они нас не понимают, чего мы такие. Это я о Рейгане. Юстас, когда приезжал из дома, сказал, что Рейган агент ВЧК Сидоренко, подкинутый туда в детском возрасте, в Миссисипи, в корзине. Папа называл эту историю любопытной. Юстас совсем свихнулся. Сдвинулся и поехал, написал роман про то, как он всё время превращается в котика. Профессор, тот просто дурачок. Папа всё шутит, а он записывает и говорит потом, что папа постиг высшую гармонию. Так что папа — почка у меня гармонист. Тётя Аня, тётя Ю, тётя Оля, их много, тётя Жанна, тётя Марина, тётя Маша, тётя Ира (много), тётя Лизариса, тётя Агнесса, Кэти, тётя Маргарет, тётя Жаклин, одна чёрная тётя, которая училась здесь лечить зубы, тётя Наташа, тёти Лены и другие тёти из папиного, как он сказал мне, званья рюшника, которых я встречал у папы, и все очень молоденькие говорили: ну и шуточки у твоего папы! А я это и сам знаю.

па у меня большой шутник, вы и сами знаете, Клавдия Аристарховна. Так про вас он сказал, что вы похожи на мезозойский период. Так и сказал. Не знаю уж, что там папа имел в виду, но сходство, конечно, есть. Как говорит Давид: пусть она, вы, Клавдия Аристарховна, совершаете свою прогулку на гениталии. Еще забыл сказать, что папа у меня в прошлых и позапрошлых воплощениях был разными выдающимися людьми, деятелями культуры, искусства, там есть даже японцы-китайцы и один почти негр. Иногда папа рассказывает мне про планету, с которой он прилетел, и мне кажется — я слышу её голоса. Папа рассказывает, что он прилетел сюда почти десять тысяч лет назад одним из последних, потому что до него здесь уже работали и некоторые по несколько десятков миллионов лет. Дядя Лао, который прилетел раньше папы, он здесь очень долго, говорит, хлопая папу по плечу: ничего, старик, скоро нас всех постреляют. Еще папа говорит, что сейчас все тарелки отлетают, потому что осень и скоро шархнет. И давно пора, думаю я, надо начинать всё заново. Так что, Клавдия Аристарховна, не волнуйтесь, я о том, что вы сказали тогда насчет папы — раз дядя Лао сказал, значит так оно и будет, и папу точно расстреляют, когда он полетит, охотники, потому что примут его за водоплавающую птицу в своих кустах. Дядя Лао всё точно знает, потому что прилетел сюда одним из первых. Он все про всех знает, и кто кем был, и кто чего делал. Но тех, кто прилетел, тут очень и очень мало, остальные все здешние, а о большинстве, сказал мне папа, можно только по-французски. Вы же, Клавдия Аристарховна, как выяснилось, в прошлой своей жизни были Дашкой Дашьнадашь, побрякушкой, зарезанной в пьяном безобразии своим приятелем-гегемоном, девушкой из народа.

/1985/

ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИИ

Жизнь, возможно, хороша.
Вот только учитель ходит,
палочкой машет,
мешает думать.



На переменке Наташка
ко мне наклонилась, шепнула:
давай тебя поцелую...
Интересно.



Всё утро валялся в постели.
Книжку читал.
Дурацкая книжка.
Воскресенье.



Я красивую ручку из пенала
у неё, когда никто-никто не видел,
вытащил и весь урок за неё
наблюдал, когда она замечет.

Сегодня на улице мокро.
Идти не хочу учиться.
Не люблю учиться, когда мокро.
Говорю, что заболел, простудился.

◆
В зоопарк ходили, мне очень
там один понравился дядя:
он лежал, костью рисуя
на снегу незнакомое слово.

◆
Сволочь противная! Да, я не знаю
как по-французски "посуда".
Ну а сама
с физкультурником спит!

◆
Видел одного матроса,
он стоял, качался, в урну писал.
Никогда не стану матросом.
Не буду родной позорить город.

◆
Хорошо. Каникулы. Заброшу
далеко портфель, возьму со шкафа
автомат, пойду
погуляю.

1985.

Ли́дия Аренс

ВОСПОМИНАНИЯ

Предисловие

Ли́дия Аполлоновна Аренс умерла в июле 1976 года, не дожив двух месяцев до своего 87-летия. До последних дней она сохранила удивительную память, ясность ума, оптимизм и жадный интерес к жизни. Это привлекало к ней людей разных поколений, и она, когда не знала того, чего очень боялась, — одинокой старости. Л.А. любила рассказывать о днях минувших и о людях, с которыми её свела судьба, — а среди них были А.А.Ахматова и Н.С.Гумилев, М.А.Кузмин, Э.Н.Райх и В.Э.Мейерхольд, М.С. и М.А.Волошины, Э.П.Лодий, А.П.Остроумова-Лебедева, Л.В.Руднев... В последние годы её жизни её часто просили написать воспоминания о литературно-художественной среде 10–30х годов, но она неизменно отказывалась. И только профессору В.А.Мануйлову удалось уговорить Л.А. написать "Записки о Коктебеле", которые ещё при её жизни вызвали большой интерес и ходили по рукам в многочисленных машинописных копиях*. Разумеется, успех её Коктебельских воспоминаний не мог не радовать Л.А., но она никогда не придавала им серьезного значения и, закончив их, никогда к ним больше не возвращалась. Совсем иначе она относилась к своим "латинским" воспоминаниям. Над ними она работала постоянно, уточняла и дополняла после встреч с людьми, с которыми вместе сидела в лагере, много раз "обкатывала" их, читая в кругу своих друзей, пока наконец не появилась окончательная редакция.

Надо, очевидно, добавить, что арест Л.А. в 1941 г. — это её второй арест. В первый раз она была арестована в 1935 г. Тогда она расхохоталась, услышав предъявленные ей обвинения в шпионаже в пользу Франции. Будучи человеком очень смешливым, она откровенно потешалась над своими перепуганными сокамерницами, такими же "шпионками", как и она сама, уверяя их, что обвинение настолько абсурдно, что через пару дней все они будут

* Воспоминания Л.А. о М.Волошине опубликованы в журнале "Континент" № 57, 88 г.

на свободе. Действительно, через неделю Л.А. отпустили, извинившись, и она рассказывала с большим юмором всем своим друзьям о том, как она была шпионкой; вскоре выяснилось, однако, что своим быстрым освобождением она обязана заступничеству своего сына, драматурга Вс. Вишневского, жившего в её доме до переезда в Москву. Когда Л.А. арестовали в 1941 г., её друзья снова обратились к Вишневскому, но тот отказался на сей раз вмешиваться, сказав, что он давно не живет в Ленинграде и не может теперь ручаться за лояльность Л.А. Этому Л.А. не простила ему никогда. Если при первом аресте в доме Л.А. ничего не было тронуте, то при втором аресте был обыск, и все было конфисковано. Так пропал её богатый архив, и об этом она жалела всю жизнь.

Ольга Георгиевна Андреева

Лидия Аренс

В О С П О М И Н А Н И Я
об аресте, суде, этапе...[‡]

Я начала эти записки-воспоминания 5 марта 1964 года в день, когда исполнилось 11 лет, как умер величайший преступник мира Сталин, а закончила их 5 марта 1967 года.

Мне 77 лет, но все, о чем я пишу, врезалось в мою память. Я ничего не забыла и не простила и записала, чтобы те, которые, может быть, когда-нибудь позже будут правдиво писать об эпохе Сталина, и из этих моих записок могли что-нибудь почерпнуть.

5 марта 1967 г.

Л. АРЕНС

А р е с т

24 августа 1941 года было воскресенье. Десять утра, но вставать не хотелось. Звонок. Пришла Нонна, мой хороший друг, звать меня "на тетерку под сметанным соусом".

Договорились, что она пойдет что-то купить и вернется. Опять звонок, и я впустила тетю Анюту, высокую, сухую старуху 84-х лет, сестру моей матери, а минут через пять звонок, и в дверях двое молодых людей в штатских пальто, под которыми видна военная форма.

- Вы Арена Лидия Аполлоновна?

- Да.

- Вот ордер на обыск и арест.

Сердце упало куда-то, ноги и руки задрожали, а они уже проходят в комнату.

- А это кто? - говорит один из них.

- Моя тетя, - отвечаю я.

- А ну-ка, тетенька, выйдите в переднюю, - и выносят ей туда стул.

[‡] Часть I. Публикуется с сокращениями. Деление на главы и подзаголовки: "Сумерки".

Я начинаю при них одеваться, а они открывают письменный стол и перебирают в нем все, рассматривая каждую бумажку.

Когда я иду в кухню мыться и поставить чайник, то один из них идет за мной.

Я беру чемодан и начинаю собирать в него вещи — ведь арест! Беру белье, простыни, беру одеяло и подушку, связав их в отдельный пакет, беру колбасу, чай и даже шоколад, случайно бывший дома.

Опять звонок, и я быстро иду к дверям, открываю их и вижу своего знакомого Анатолия Алексеевича Надежина, который приходил иногда по воскресеньям пить кофе. Я толкаю его рукой в живот и шепчу "бегите! у меня НКВД". Он горохом катит вниз по лестнице, а меня хватает один из пришедших и кричит:

— Не смейте открывать двери! Кто там?

— А это позвонил какой-то мальчишка и убежал. Это часто бывает.

На следующий звонок он сам идет к дверям, и я чувствую, что это пришла Нонна "пить кофе"! Какой-то разговор, и он выносит еще стул в переднюю. После этого тихо — звонков нет. Я продолжаю собираться, обдумывая, что еще взять с собой.

Проходит с полчаса, и один из военных открывает дверь в переднюю.

— А птички-то улетели! — говорит он, и, несмотря ни на что, мне делается смешно — хороши птички!

Когда обыск был окончен и отобрано то, что им нужно было взять с собой (письма, фотографии, альбом), и машина ждала у ворот, пришел мой двоюродный племянник Игорь, 17ти лет. Он почти жил у меня. Его отец был арестован в 1936 году, отсидел в лагере четыре с половиной года, сейчас реабилитирован.

Увидев, что происходит, он взглянул на меня с таким ужасом, что я сказала ему:

— Ничего, Игорь, не волнуйся и вот возьми ключи, отдай на работе и скажи, что со мной.

Один из военных выхватил ключи из моей руки со словами "ничего нельзя передавать, потом получат".

Долго потом хлопотал бухгалтер, пока ему отдали ключи от несгораемого ящика и всех шкафов.

Я работала техническим секретарем, архивариусом и касси-

ром Архитектурно-Проектной Мастерской КЭУ.ГИУ.КА.

Моей соседки по квартире не было дома. Это она и пришедшие ко мне в момент ареста Надеждин донесли на меня, что я с ними наедине вела контрреволюционные разговоры, но об этом я ничего не знала и не понимала, почему меня арестовали.

Комнату опечатали после того, как был составлен акт краткой описи вещей.

Игорь взял чемодан и пакет, и мы вышли из квартиры. Военные надели штатское пальто и шли сзади, как будто они ни при чем, а идут сами по себе, не имея к нам никакого отношения.

Пожилая женщина из соседней квартиры сидела, греясь на солнышке во дворе, и, когда я проходила мимо, спросила меня:

– Уезжаете? Надолго?

На что я ответила:

– Нет, не надолго, – и пошла к воротам, не останавливаясь.

Игорь положил вещи в легковую машину, я обняла и поцеловала его, сказав ему: "Смотри, не оставайся в Ленинграде, уезжай скорее, непременно уезжай!" Его родные уже уехали, а он один как-то застрял тут. Он не уехал сразу, не смог уже уехать потом и умер от голода во время блокады Ленинграда.

Д П З

"Собачник" в ДПЗ – забавное сооружение. Это двадцать, а может быть и больше, кабинок по одну и другую сторону прохода, где ходит конвой. Внутри сиденье, легкие высокие стены, но без потолка.

Дверь за мною закрыли снаружи. Положила вещи, села. Устала сидеть и хотела лечь, но коротко и неудобно.

Чувствуется, что рядом, кругом, напротив сидят испуганные люди, слышно дыхание, кашель. Закуриваю папиросу. Женский голос говорит с надрывом:

– Да дайте же спичку закурить! Прощу вас!

Молчание конвоира в ответ. Опять та же просьба уже со слезами в голосе, и так много раз. Я не выдерживаю и громко говорю невидимому конвоиру:

– Возьмите у меня спички и дайте закурить.

Молчание...

Вскоре открывается дверь, и мне суят ложку и миску с пшенной кашей. Есть не могу, не хочу. Время тянется нестерпимо долго. Мучительно думаю, в чем дело, но мысль работает, как-то крутясь на месте.

Вдруг слышу голос, который говорит: "Но я не Михайлов, а Михайлов", и другой мужской голос, который ему отвечает: "А не все ли равно". И опять мужской бас, очевидно, немолодого уже человека: "Нет, не все равно, я же не Михайлов, а Михайлов", и вопрос: "За что я здесь, что я сделал?" И ответ: "Потом узнаете, а сейчас сидьте прямо и смотрите в аппарат", и я понимаю, что где-то тут рядом делают фотоснимки с арестованных.

Потом и меня приводят в эту комнату и я тоже сижу на стуле. Снимают афкас с доской на груди, где моя фамилия, имя и отчество и номер, и в профиль два раза (туда и сюда), а затем отпечатки пальцев — в общем, готовый преступник!

А потом "руки назад" и конвоир ведет по каким-то коридорам, спускам и подъемам, поворотам и, наконец, сдает надзирательнице.

Поднявшись по внутренней узкой лестнице, мы перед рядом железных дверей на замках. На полу мягкая дорожка, а с другой стороны от дверей камер перила, и за ними провал до самого низа за решеткой-сеткой, прикрепленной к перилам и идущей до самого потолка, а за провалом окна куда-то.

Надзирательница открывает с лязгом и скрежетом дверь последней камеры, и я вхожу в небольшое помещение, где окно в "наморднике" под самым потолком, и вижу высокую, молодую женщину с пышными стриженными волосами, которая стелет простыни на койку. Она оборачивается, и мы смотрим друг на друга. Когда дверь закрывается на все замки, я подхожу к ней, протягиваю руку, и мы целуемся. Спрашиваю, давно ли она здесь? Оказывается, всего десять минут. Кто она, кто я? Мы быстро обмениваемся сведениями друг о друге, но надзирательница отворяет форточку в двери, всовывает в нее голову и говорит: "Прекратите разговор, спать пора!" Мы замолкаем, но разве мы можем не говорить?! И еще долго, но уже шепотом и лежа на своих койках, мы говорим и, вероятно, только далеко за полночь засыпаем.

Ее звали Ириша Николаевна Керсновская. Было ей лет 35, работала она редакционной машинисткой в "Доме книги".

Мы очень подружились и проводили время в бесконечных разго-

ворах обо всем. Мы понимали друг друга и, когда она приходила с допроса и говорила мне: "Знаете, я боюсь моего следователя, он может побить меня. Сегодня он спросил, а кто такой Ибсен, водил пальцем перед моим носом, и я явно видела, что он не поверил, что это писатель", мы долго хохотали над этим Ибсеном. Вообще же ее выписки в тетрадь изречений разных писателей из прочитанных книг приносили ей немало огорчений, а нам потом смеха.

Несмотря на наше невеселое положение, мы очень много находили смешного и часто так весело хохотали, что надзирательница открывала форточку в двери, и спросив нас, в чем дело, что с нами, явно удивлялась нашему поведению.

Она неслышно ходит от двери к двери и, подымая крышечку "глазка", смотрит, что мы делаем, и не разрешает днем лежать. Когда вызывают к следователю, то она открывает дверь, но никогда не заходит в камеру.

Мы сидели вместе в этой одиночке одиннадцать дней. Водили нас в душ вдвоем, и много раз, но уже поодиночке, к следователю. И она и я поняли, почему нас посадили. Ее оговорили соседи по квартире, с которыми она не ладила, а меня моя соседка по комнате в квартире и вот этот Надежин.

На двенадцатый день (5 сентября 1941 года) велели взять свои вещи, а казенные оставить, и повели куда-то вниз. Мы оказались в огромном коридоре, где скопилось несколько сот женщин. Ясно, что куда-то всех отправляют. Ходили, искали знакомых, стоял гул от разговоров. Увидела врача-гомеопата Н.Ошкову и узнала, что ее обвиняют в том, что она состоит в "Армии Спасения". Мы обе засмеялись от нелепости этого обвинения, но ехала-то она в лагерь!

Стали выкликать фамилии, но когда вызвали всех на "А", меня не назвали. Когда стали выкликать на "К", ушла Керсновская. Мы взглянули друг на друга и поцеловались, как при встрече. Увидимся ли, что будет?...

Всех увели, осталось семь человек, и нас впустили в большую общую камеру, где уже было человек тридцать женщин. Разговаривалась с некоторыми, стали играть в самодельные шашки и шахматы. Прошло около часа, и меня вызывают и ведут в ту же камеру, где я сидела, но теперь я тут одна. О, насколько же это тяжелее!

Потом я поняла, что мое дело было очень "продвинуто", и следователь хотел его довести до суда в Ленинграде, остальные ушли в этап несудимыми, и их судили в Сибири в городе Мариинске.

Очные ставки с Щурой (Александрой Тимофеевной Ивановой) и с Надежиным. Они говорили, что я с ними наедине вела контрреволюционные разговоры. На очной ставке с Щурой я спросила ее:

- Вот вы пять лет живете в комнате рядом со мной, и от вас хорошо слышно, что говорят у меня в комнате. Приходили знакомые, и были разные разговоры. Слышали ли вы контрреволюционные разговоры, были ли они?

Она опустила голову и покраснела.

- Нет, не было, но наедине со мной вы говорили.

Я попросила следователя записать это в протокол, но он грубо отказал.

Да что писать об этом?! Ведь если я сказала, что у нас серый средний комсостав, то это хула на Красную Армию; если я говорила, что не каждая кухарка может управлять государством, а должна научиться управлять им, то значит я поправляю Ленина; а если я говорила, что было ошибкой заключить договор с Гитлером о ненападении и дать ему возможность по очереди разбить все государства и напасть на нас, то я осуждаю Сталина и т.д.

Я не подписывала протоколов очных ставок и отказалась подписать обвинительное заключение, сказав следователю, что тут такое понаписано, что и расстрелять мало, и что все это извращено и преувеличено, и что если я что-либо и говорила, то наедине в домашней обстановке.

Он ответил мне:

- Ну расстрелять не расстрелять, а получите достаточно! - и нажал кнопку звонка на столе.

Вошла уборщица, и он сказал ей:

- Вот арестованная прочла обвинение, но не хочет его подписывать, - и обращаясь ко мне, спросил: - Вы прочли его?

- Да, я прочла, но не согласна с тем, что там написано, и не буду его подписывать.

Следователь протянул уборщице бумагу, и она подписала ее.

Незадолго до суда меня провели в кабинет следователей и там дали мне просмотреть "дело". Любопытно, что соблюдалась видимость законности происходящего! Но как же могла лежать на столе у моего следователя-мальчика стопка незаполненных (чистых) ордеров на обыск

и арест, уже подписанных прокурором и с печатью НКВД? А я их видела своими глазами, когда подошла к столу подписать протокол допроса!

В моем "деле" были доносы Ивановой и Надежина, протоколы очных ставок с ними и моих допросов, и там же я увидела и свои фотографии, снятые в день ареста.

Из доноса А.Т.Ивановой узнала, что она сообщает о том, что я ей рассказывала, что, якобы, моя мать урожденная Жерве, что ее отец (мой дед) Севастопольский герой и его именем названа была в Севастополе батарея, что моим пасынком является писатель Всеволод Вишневский (я не была в законном браке с его отцом), что я дворянка и отец мой, военный инженер, умер в 1916 году в чине генерала, и так далее, и тому подобное, но самое любимое, что все это чистейшая правда!

А в доносе А.А.Надежина было много мелкой чепухи вроде, например, такой: что я что-то говорила о цели приезда в СССР японца Мацуоки и т.п. Но он привел действительно неосторожное мое высказывание. В ответ на его вопрос: "А где отец вашего племянника?" я сказала, что он там, где теперь почти все культурные люди - в лагере!

Оба писали в своих доносах, что все, что они приписывают мне, я говорила наедине с ними.

Как я уже писала, следовательно у меня был еще очень молодой фамилия его была Астанский. Он не бил меня и редко ругал, но однажды, когда я стала протестовать против того, как он записал мои показания, он вдруг округлил рот, засунул руки в карманы брюк, как -то колесом изогнул ноги и закричал:

- Вы сволочь, настоящая сволочь!

Я сидела на стуле в углу кабинета далеко от его стола (так всегда сидят на допросе, чтобы не ударили, не бросили чего-либо не плюнули в следователя), и вдруг мне стало смешно, и я не сдержала улыбки. Тогда он крикнул:

- Бросьте ваши дворянские улыбочки!

А я, вдруг вскипев, громко ответила:

- А вы ваш пролетарский крик!

Наступило молчание, он стал листать дело и задал спокойным голосом какой-то вопрос.

На одном из первых допросов следователь сказал:

- На вас показывает ваш друг, вы знаете его с 1907 года.

Сердце забилось от страха, от мысли, кто же из моих друзей может быть доносчиком. Но я равнодушно спросила:

- Кто же это?

Издали покрутив перед моими глазами какими-то бумагами и повторив: "Да, да, это ваш старый друг, он вас знает с 1907 года", он вдруг сказал: "Это Надежин Анатолий Алексеевич". Тут я подскочила на стуле и закричала: "Ах, эта сволочь! Он никогда моим другом не был".

Следователь опешил и, помолчав, сказал мне: "Но вы же его знаете с 1907 года?" - "Ну да, знаю. Я звала его к себе играть в карты, он хорошо играл в винт и преферанс, а сам навязался приходить ко мне пить кофе и побеседовать. Вот и все, а другом он мне не был".

Легко стало на душе, и я сразу успокоилась.

Когда я осталась одна в камере, то время тянулось нестерпимо долго. Книг не давали. Заказывала себе на день, о чем сегодня думать, что вспоминать. Уставала сидеть на железной табуретке, вделанной в стену, ходить из угла в угол, и ужасно хотелось полежать. Я занималась тем, что высчитала, сколько секунд проходит между тем, как надзирательница посмотрит в глазок и опять повторит это. Решила лечь и, просчитав секунды, встать, но надоело вскакивать, и я решила просто полежать. Открывается форточка, и надзирательница спрашивает, почему я лежу.

- А просто так, лежу и все.

- Встаньте, лежать запрещено.

- А я не встану.

- Вставайте, иначе я позову корпусную.

Я не встала, мне хотелось посмотреть, что будет. Скоро залязгали замки и в камеру вошла здоровенная женщина средних лет.

- Встаньте немедленно.

Я встала, а она резким движением захлопнула койку на защелку в стене и ушла.

Вечером надзирательница открывает форточку в двери и в каждую одиночку говорит: "Спать пора!" А я не могу лечь. Опять открывается форточка.

- Отчего не ложитесь?

- Койка защелкнута.

- Ах, да! - и пошла за ключом.

В ночь с 8 на 9 сентября 1941 года был большой налет. Бомб упали где-то очень близко, и содрогалось наше здание. Очевидно немцы целили в Большой дом (так называли здание НКВД на углу Литейного проспекта и улицы Каляева, а к нему впритык стоит серое, еще царского времени здание тюрьмы ДПЗ (дом предварительного заключения)).

Боже мой, какая паника во всех камерах! Кричали, стучали, плакали, а надзирательница бегала от камеры к камере и громко говорила:

- Да что вы, успокойтесь, ведь я же с вами!

Я лежала, прислушиваясь к происходящему, и, услышав эту фразу, от души хохотала. Конечно, чего же пугаться и бояться, ведь она с нами!

Утром не было воды, очевидно, был перебит водопровод, и мы не получили кружки жидкого кофе. С тех пор я всегда с вечера наливала воду в кружку и миску, чтобы было чем умыться.

Утром, открыв форточку со словами "вставать пора", надзирательница вдруг, а они никогда не разговаривают с заключенными, задала мне вопрос:

- А вы что же не кричали и не стучали?

Я засмеялась и спросила ее:

- А зачем?

Днем она мне сама предложила полежать, а вечером дала вторую порцию чечевицы.

Результатом панического поведения женщин был перевод в камеры нижнего этажа, темные и сырые, а наверх подняли мужчин.

Дней через десять моего одиночества ко мне вдруг поместил женщину. Я очень обрадовалась, но уже через два часа жалела, что я не одна. Это была эстонка, работавшая счетоводом в жилищном управлении, одинокая, лет сорока. Жила она в комнате большой квартиры, и соседом ее был партиз. У нее была собачка, которую она обожала, собачка нагадила у порога соседа, а он донес на эту эстонку в НКВД, и вот она в тюрьме. Малоразвитая, ничем не интересующаяся, кроме работы и своей собачки, она ничего не понимала и изводила меня, выпитывая, что я думаю о том, что будет с ней и с ее собачкой.

Я ей сказала, что если бы я была следователем, то отпустила бы ее домой после первого же допроса, но я не следователь, и ей нужно подготовиться к тому, что она получит десять лет лагеря.

Боже мой, я не рада была, что ей так сказала! Она рыдала два часа и все мне рассказывала одно и то же. Я стала утешать ее и уверять, что я пошутила, что, вероятно, все кончится благополучно и ее отпустят домой. А мне ведь хотелось приготовить ее к тому, что с ней будет, и, может быть, я все же облегчила ей получение приговора на десять лет. Фамилия ее Аза. Она упала на камни с тех мостков, по которым мы на четвереньках лезли на баржу на Ладожском озере, сильно поранила себе голову, но все равно была погружена в трюм. В поезде у нее загноилась рана, туда набились вши, и на какой-то станции ее сняли для отправки в тюремный лазарет.

С у д

Суд был 20 сентября 1941 года на Дворцовой площади. Судил Военно-Революционный Трибунал войск Ленинградского округа по статье 58-10 часть 2-я (по военному времени).

Показания Ивановой Александры Тимофеевны зачитали, а Надежин Анатолий Алексеевич был сам.

Судья Стениловский (красивый мужчина, вероятно, поляк) и двое военных заседателей.

Когда председатель спросил Надежина, не говорила ли я чего-либо о "вышестоящих", то он потер рука об руку и угожливо сказал: "Как будто один раз...", но председатель суда с выражением безразличности оборвал его словами: "Или было, или не было! Сядьте!"

Я сказала суду в последнем слове:

- Прошу суд учесть при вынесении приговора, что я не принесла никакого реального вреда ни Родине, ни Красной Армии.

Когда меня вели двое солдат с винтовками (они же стояли справа и слева от меня во время суда) и я проходила мимо сидящего в пустом зале Надежина, я громко сказала ему: "У, гад!", - и он отшатнулся, как от удара.

Через час я выслушала в совершенно пустом зале (Надежина уже не было) такой приговор: считая нецелесообразным применение высшей меры наказания - расстрела, приговорить к десяти годам

ИТЛ с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.

Этот же приговор был мне дан начальником конвоя для прочтения и подписи, сверху было напечатано "секретно", и на руки я его не получила.

Привезли в суд в 9 утра, приговор был в 10 вечера, ничем не кормили, и я очень ослабла.

В комнате, где все мы ждали суда, было много народа. Конвой не мешал нам говорить друг с другом, и я узнала несколько историй, видела людей после приговоров.

Инженер Шеер из Военпроекта, молодой еврей лет тридцати пяти, недавно женат, двое детей. Весело разговаривал, уверял, что все такая чепуха, что его, конечно, освободят. Я спросила, в чем же дело, и узнала, что он был в г. Луга и видел там неразбериху и ерунду. Приехав обратно, в присутствии восьми сослуживцев говорил об этом, указывал, что и как надо исправить и т.д. Выслушав его, я сказала ему, что его оптимизм не оправдан, что вряд ли так все благополучно кончится, что ему надо подготовиться к тому, что он будет осужден за разглашение военных тайн. Он очень удивился и сказал мне, что ведь он еврей, что он против Гитлера, что он говорил, чтобы было лучше, а не хуже, и т.д.

Вскоре его вызвали в суд, часа через два он вышел, и я не узнала его. Объявлен был перерыв, и послали еще за четырьмя свидетелями.

- А знаете, - сказал он мне, - ведь меня приговорят к расстрелу.

- Ну, что вы, это уж слишком, но срок дадут, - сказала я. Он был так подавлен, что не мог уже ни о чем говорить.

Когда я получила свой приговор и вошла в комнату ожидания, то мне сказали, что Шеер приговорен к расстрелу. Я спросила: "Где же он?" - "Пишет прошение о помиловании". Я ждала его. Мне хотелось как-то утешить его - ведь тогда было так: или расстреляли или 10 лет!

Войдя в комнату, он сразу подошел ко мне и спросил:

- Что вам дали?

- Десять лет.

- Ай, как бы я был счастлив иметь Ваш приговор!

Из суда мы ехали вместе в "черном вороне", но запертые в отдельных кабинах, а приехав в ДПЗ, стояли рядом, и я крепко пожала ему руку и сказала:

- Не падайте духом, Вам заменят десятью годами, ведь мне сказали, что суд за Вас ходатайствует.

- Спасибо.

И мы расстались, уводимые в разные стороны, и я об нем ничего больше не знаю.

Молодой парень лет двадцати, эстонец по происхождению, попал к немцам на станции Стекольная, но выбрался обратно, а в пивной стал болтать и ругать начальство и, кажется, Сталина. Кто-то донес, и его взяли из пивной. Приговор - расстрел.

Парень бегал, как ошпаренный, из угла в угол и ничего не мог понять. Старший в конвое остановил его, сказав: "Пиши о помиловании", и стал учить его, что писать.

В II часов вечера построили нас всех, получивших "по заслугам", по двое. Впереди двое, приговоренных к расстрелу, за ними я и еще одна женщина (ее не судили почему-то и везли обратно), а за нами еще человек десять, и все с разными сроками. Один получил 5 лет за то, что зажег фонарик, искал упавшие в лужу ключи и т.д. и т.п.

И мы пошли вниз по лестнице на площадь, а там тьма, ни зги не видно. Стоит "черный ворон", и его не видеть. Передних конвой посадил, а мы даже не видим, куда ступать, и тут мелькнула мысль о побеге - вместо машины под нее и перебежками по площади и в окопы на Марсовом поле, а потом к родным, но ... слабость, минута колебания... и я в машине.

Т ы р ь м а н а А р с е н а л ь с к о й

Привезли в то же ДПЗ, но поместили в камеру, где уже были двое осужденных, и мы были вместе несколько дней.

Во время бомбежек так сотрясалась тюрьма, что мы накрывали головы подушками, боясь, что упадет с потолка толстая штукатурка.

Как-то вечером велели взять свои вещи, а казенные оставить и повезли в тюрьму на Арсенальской улице. Привезли и заперли в "собачник" на всю ночь. Это узкая, длинная, подвальная комната, в ней стоят садовые скамейки с железными спинками. На них и сидеть-то не очень удобно, а лежать совсем плохо, да и нас было человек десять, а скамеек штук пять, и мы, скрючившись, кое-как провели ночь на 25 сентября 1941 года. Это был день моего рождения, мне исполнялось 52 года.

Потеряно все, отнято все имущество, и впереди 10 лет лагеря! Тяжело прошла эта ночь, в полузабытьи и мрачных мыслях.

Утром отправили нас под общий душ, а потом я попала в большую камеру, в ней было человек сорок пять.

На железных кроватях спали, составив две, и ложились поперек них по пять человек. Не очень-то удобно! Матрасов нет, впииваются ребра досок, тесно! Поворачивались разом по команде и спали лежа все на одном боку.

Света нам совсем не давали. Каждый вечер часов около восьми начинались налеты немецких мессершмидтов. Они с каким-то очень противным свистом пролетали над крышей или где-то очень близко. Слышались разрывы, иногда дрожало здание, стреляли зенитки, в окна были видны пожары.

Эти ежевечерние налеты действовали по-разному на разных людей. Я становилась на спинки двух смежных кроватей и смотрела в окно. Было жутко и очень интересно, а когда начинали стрелять зенитки с соседних домов, то я соскакивала и садилась под стену. А вот одна еще очень молодая женщина, как только начинались налеты, впадала в такую панику, что хватала пустое ведро для кипятка, надевала его на голову, бросалась на колени перед запертой на все замки дверью в коридор и стучала в нее кулаками, умоляя выпустить ее, а там смеялись конвойные!

Некоторые залезали под кровати и лежали там, пока шла бомбежка, но были и такие, которые крепко спали. Я как-то разбудила одну спавшую под самым окном, потому что так дрожали рамы, а они были очень старые, что я боялась, что ее убьет, если они вылетят. Она меня выслушала, посмотрела на окна и очень спокойно сказала: "А и вылетят, так мимо пролетят, и не мешайте мне спать!". Она была поварякой-то столовой, повернулась на другой бок и через минуту храпела опять.

Мы знали, что если в тюрьму попадет бомба и нас ранит или убьет, то все равно камеру до утра не откроют. Так было на той же Выборгской стороне в 6. Военной тюрьме. В нее было попадание, было много раненых, но помощи им не было оказано до утра.

Шли дни. Утром по привычке мылась с ног до головы холодной водой из умывальника. Чай с хлебом, обед — суп из рыбы с капустой или из зеленых помидоров с крупкой. Этот суп мы еще в одиночке прозвали по-французски "суп а ля призон", то есть тюремный

суп. Безделье, бесконечные разговоры и рассказы в ожидании того, что будет дальше.

5 октября к нам в камеру впустили молодую девушку. Звали ее Рена и было ей всего 18 лет.

Я вообще была очень жадна до всех историй, а тут, удивленная ее молодостью, прямо набросилась с расспросами.

Среднего роста, крепкого сложения, с прекрасным цветом лица и чудными длинными русыми косами. Только что кончила среднюю школу и собиралась поступать в институт им. Герцена.

Военный Трибунал присудил ее к трем годам ИТЛ по ст. 58-12 - за доношительство.

Девочка была неглупая, рассказала, как образовалась организация интеллигентных мальчиков-школьников с наивной контрреволюционной окраской. Среди них был и один взрослый, который и выдал их. Ей предложили вступить в их общество, но она отказалась и не донесла на них, да еще и на суде сказала, что "доносчику первый кнут". Вот за это ей и дали три года!

Всего три дня мы были вместе в этой камере и очень как-то подружились, несмотря на разницу в годах.

8 октября днем после обеда вдруг стали вызывать "с вещами, а казенные оставить". Имея фамилию на букву "А", я всегда попадаю одной из первых. Зачем вызывают? Одна ли я уйду или и другие пойдут? Ничего не известно. Собираю свои вещи, тороплюсь, потому что торопят, прощаюсь со всеми и с Реной. Выхожу в коридор, а там за столом сидит несколько военных, очевидно, какая-то комиссия.

Спрашивают фамилию, по какой статье и т.д., а я вижу, что на меня есть пакет с моим делом и на нем штамп "Новосибирск". Ужас! Я не хочу ехать так далеко, я вообще никуда не хочу ехать из любимого, родного города, но...

Проводят в большую камеру, где уже много народа, и туда же постепенно приходят и все из нашей камеры.

Обыск - осматривают все вещи и отнимают от нас наши собственные кружки и ложки, соль, табак, а вообще не совсем понятно, что можно, а что нельзя. Некоторые, опытные, кое-что прячут и умудряются передать тем, кто уже обыскан.

Выводят на двор и сажают в "черные вороны" или "Маруси", как их тогда называли, набивая нас так, что негде стоять, а

не то что сидеть, и нечем дышать. Путь не долог, и мы выходим на запасных путях Финляндской железной дороги и через шеренгу солдат погружаемся в "Столыпинские" вагоны для перевозки арестантов.

" С т о л ы п и н "

Я занимаю самую верхнюю полку в купе, которое и в коридор может закрываться на решетку и окна в котором за железными решетками.

Подо мной сплошные как бы нары, и на них устраивается какая-то веселая компания. Рена рядом в купе, и все мы как-то разбились и в разных местах, но купе не заперты решетками и мы можем свободно общаться друг с другом. Вагоны наполнены, и поезд движается.

Я стою у окна в коридоре, и такая тоска, такой ужас сжимает сердце, что мне делается плохо. Страшно болезненная спазма кишок

так больно, что я едва удерживаюсь от крика и ложусь на первую попавшуюся скамейку. Минут через десять боль проходит, и я опять стою у окна и гляжу на чудесную золотую осень. В тот, 1941, год была изумительно красивая расцветка деревьев. Поезд наш шел, задевая ветви крышами вагонов. Очевидно, это была б.Ириновская железная дорга. Часто в гуще деревьев виднелись зенитные установки.

Устала смотреть и легла на свою верхотуру, а подо мной идет бурный и веселый разговор, уже, очевидно, очень привычный к путешествиям в лагерь "милых созданий". Руководитель сразу виден — это белокурая, с крупным и довольно красивым лицом, Липа. Ее подпевала и помощник — Ляля Черная, еще очень молоденькая, с черными, коротко остриженными волосами, модно причесанная, с миловидным и интеллигентным лицом. И еще три-четыре менее запоминающихся, но веселых и разбитных, и все говорят на блатном жаргоне.

Я впервые вижу таких и слышу такое.

Они с аппетитом поедат сухари, сахар и что-то еще, курят, но есть больше нечего, и Липка дает команду: "Пошли доить коров!". Все выливаются в коридор, идут в соседние купе, и раздаются слова приказа: "Отдавай, а то плохо будет!". Крики, плач, ругань и звуки ударов. Скоро вся команда возвращается и

начинает жрать награбленное. Шумно жуют сахар, сухари, конфеты, печенье, колбасу и хлеб. Если без передыха, пока все не слопали. Через некоторое время Липа говорит: "Ну что, пойдём ещё подоим коров, только шмоток не брать, а одну жратву".

Я слезаю с полки и быстро иду в соседнее купе, где люди из моей камеры, и я говорю им: "Они опять идут, давайте мне все, что осталось, а я спрячу и отдам потом. Меня они не трогают". Одна сунула мне в карман большой кусок колотого сахара, а другая сухари, но в это время появилась бандитская команда, и я быстро вышла в коридор и видела, как это делается. Оставалось немного, но и это беспощадно отбиралось, а при сопротивлении ловко били по лицу обеими руками, не давая опомниться. Одна, недавно получившая посылку, не давала свои богатства и, защищаясь, даже укусила бандитке палец, но была сильно избита и отнято было все.

Стоял крик и стон, но конвоиры не обращали никакого внимания на все происходящее и не выходили из своего отделения.

Я опять залезла на свою полку, а они жрали все подряд и хрупали сахаром до того, что одна из них сказала: "Фу, даже десны заболели!"

Липа вдруг посмотрела на меня и протянула мне кусок сахара: "На, возьми". Я взяла, отказаться было нельзя, это значило бы - война!

Потом они закурили отнятые у 58-й папиросы. Липа спросила меня: "Куришь?" - и протянула папиросу.

Правда, перед первым походом она задала мне вопрос: "А у тебя что есть?", и я ответила: "Ничего", но я была в их купе, и они оставили меня в покое, да у меня и были только пачка табака и две маленькие пачки чая.

Мои друзья принесли мне большую передачу, где были и теплые вещи и продукты, но, к счастью для меня, они опоздали - нас только что вывезли на вокзал.

Но вот и вечер, и наш поезд останавливается. Открывают вагоны и кричат: "Выходи!". Выходим и видим, что из всех вагонов выходят женщины. Стоят по четверо. Всем велят сесть на корточки. Кругом нас бегают овчарки. Нас считают по головам и велят встать и куда-то идти. Сильно темнеет. На Ладожском озере, куда нас привезли, стоит огромная баржа и колышется на легких волнах

озера. Красиво и как-то очень все страшно. Баржа очень высоко на воде, и к ней ведет лестница из двух досок с редкими перекладинами и без перил. Велят по одному подниматься на баржу. Лезу на четвереньках и то с трудом, так редки перекладыны. Спуск в трюм не лучше, а в трюме уже полно народа. Едва находим место, чтобы сесть на свои кульки с вещами. Мы подбираемся вместе - рядом со мной Рена и еще четверо из нашей камеры. Решаем крепко держаться вместе и помогать друг другу. Тесно, многие стоят, не зная, как им устроиться.

Рассказывали нам, что до нас в баржу уже был погружен эшелон, и когда пришел наш, то некуда было грузить. Тогда конвоиры, поставив пулемет на край отверстия в трюм, закричали: "Сейчас будем расстреливать!". Все бросились к противоположной стене, и освободилось место грузить нас!!

Трюм был разделен сплошной дощатой перегородкой на два отделения, в другом были мужчины. За нашей спиной оказались, отделенные от нас решеткой из досок, 140 пленных немцев.

Когда кончилась погрузка, то вскоре мы почувствовали, что плывем - вода плескалась в борта нашей баржи.

Б а р ж а

Отверсите сверху было с шумом наглухо забито досками, и мы погрузились в абсолютный мрак. Хотелось есть, ужасно хотелось пить, лечь было некуда, затекли ноги от сиденья, а когда встанешь размяться, то не знаешь, куда сесть - твое место заплываает уставшими людьми.

Наутро отколотили и сняли доски с отверстия и осветился наш трюм. Стали кричать конвою, чтобы дали воды и хлеба. Вода плещет в борта баржи, и этот звук еще больше раздражает и без того сильную жажду. Надо ведь и в уборную, но где же она? Ее нет, просто идут в один угол баржи, но поход этот далеко не безопасен, да и очень труден из-за тесноты, и мы идем по 2-3 человека вместе, чтобы дать отпор бандиткам, которые ждут нас, чтобы напасть и отнять что-либо из одежды или даже просто избить, потешаясь над "контриками", как они нас звали.

Воду, наконец, после бесконечных просьб, спустили на веревках в больших молочных бидонах, но люди до того хотели пить, что бросились черпать ее тем, что у кого было, и рвали друг

у друга эти посудины, проливали воду, дрались, кричали и никто не мог напиться. Конвойные же сверху смотрели на все это и хохотали, и вместо того, чтобы спустить еще бидоны с водой (в Ладожском озере ее было много), они поднимали их и убрали.

Вечером после наших просьб, криков и даже угроз о жалобе на них, повторилась та же издевка, и мало кто смог выпить хоть немного воды.

У меня был глиняный горшочек, которым я наконец зачерпнула воду, но какая-то идиотка вцепилась в край горшка и так дернула его к себе, что он разлетелся, и в моих руках осталось только доньшко, а в нем глоток воды.

Наверху появились конвоиры с корзинками, в которых был нарезанный кусками хлеб, и стали его бросать нам вниз. Что делалось, описать трудно, ведь нас, женщин, было около 800 человек, а хлеба несколько корзин! За шесть дней плавания на этой барже я только один раз поймала кусок хлеба и то потому, что он упал просто ко мне в руки, но защищать его пришлось мне изо всех сил. Я спрятала его под мышку под пальто и свирепо дралась с напавшими на меня.

Наладили отношения с пленными немцами - они страдали без курева и, просовывая руки в отверстия в перегородке, отделявшей их от нас, умоляли: "Табак, табак!", а у меня была пачка табаку, и я насыпала в протянутую руку на закрутку, а в дырку внизу протискивала кружку со словами "вассер, вассер!" (воды!). Когда конвоир, ходивший по краю занятого ими помещения, уходил подалее, то немец брал кружку и, зачерпнув воду в ведре, которое спускалось им на веревке и в котором всегда была вода, просовывал ее нам. Это выручало хоть немного меня, Рену и еще нескольких, но жажду не утоляло. А голод мы как-то даже перестали чувствовать - слишком много страшного было кругом, а особенно страшны были ночи.

Среди пленнных были говорящие по-русски, и один из них спросил меня: "Что вы все сделали, за что вы тут, куда вас везут, почему вас так много?" Что я могла ему ответить? Я сказала, что тут и те, которые совершили уголовные преступления, и такие, которые думали не так, как надо думать, а преступлений не совершали, а везут нас всех в лагерь.

Недалеко от нас была одна больная женщина, она видела, что

я получала от немцев воду и давала им табак, и она сказала: "Вот погоди, придем, и я расскажу про тебя, и что ты с ними разговариваешь".

Я испугалась, зная, к чему это могло привести, и перестала говорить с ними, а только просила воду. В поезде она попала в другой вагон, и вообще я ее больше не видела.

Самый ужас начинался, когда вечером забивали верхнее отверстие в трюм, забивали наглухо досками, и становилось абсолютно темно. Тут начиналось что-то невообразимое. Мужчины устроили лазейку в перегородке, и я сама видела утром Ляльку Черную, возлежавшую на одеяле с каким-то мужиком, и это в нашей-то дикой тесноте!

Ночью я представила себе, как при обстреле (а они были и, очевидно, с самолетов, потому что с нашей палубы стреляли зенитки, а по палубе сыпал горох пуль) мы пойдем ко дну. В этом трюме было около 800 женщин, и, вероятно, втрое больше мужчин. Весело бы это было — погибать так!

У мужчин, видимо, было еще теснее, и ночью одни нападали на других, чтобы достать себе место, и раздавались стоны, крики, мольбы о помощи, и чувствовалось, что человека убивают, и вдруг он затихал. Когда мы выходили с баржи, то несколько сот голых трупов мужчин лежали в углу поленицей, но я отвернулась, не хотела смотреть, ведь я и так видела, как у нас утром лежали трупы умерших или убитых ночью и как на этих трупах, как на скамейках, сидели по несколько человек! Потом конвой спускал доску и веревочную петлю и вытаскивал на палубу раздетые до гола трупы.

Началось сходжение с ума. Сумасшедшие бегали среди нас, кричали, носились в этой тесноте и для них находилось место поставить ногу! Каждый сторонился, отшатывался!

В нашей кучке сидела Ольга Яковлевна Громова, жена офицера из Красного Села. Ей мальчишки принесли из леса немецкую листовку. Она прочла вслух эту листовку своему мужу и товарищу и положила под матрац, чтобы потом уничтожить. Товарищ мужа донес. Пришли, взяли листовку и ее, а она пекла оладьи и так и была в синей блузе с пятнами теста. Судил Военный Трибунал и дал ей 6 лет ИТЛ. Так вот она стала волноваться, ерзать на месте и куда-то стремиться.

Я стала ее успокаивать, долго уговаривала сидеть спокойно, но вдруг она вскочила, закричала что-то, распустила волосы и понеслась куда-то. Это было еще днем. Ее толкали, били, и, в конце концов, где-то далеко от нас она свалилась, и что с ней было дальше, не знаю.

Ночью мы не спали, а как-то теряли сознание и только крепко держались друг за друга, боясь потерять последнюю опору.

Рена была все время возле меня. Днем я старалась отвлечь ее от действительности, от голода и жажды, от которых она очень ослабела, расспрашивая ее об ее семье, о ней самой, о том, что она видела, что читала, и рассказывала ей о себе. Что она видела, много ли? А мне было 52 года и за моей спиной была уже длинная жизнь. Так, отвлекаясь, стараясь забыть окружающее, мы проводили день, но когда начинали забывать верх, то волосы шевелились на голове от ужаса, от предвидения того, что будет ночью.

Над нами были сделаны нары из досок, и на них засела шпана, блатнюги. Им утром не хотелось идти в уборную, и они писали на нас!! Ах, какие это гады! У меня с собой было ватное одеяло, и мы накрывались этим одеялом, и по нему стекала моча этих гадин! Уйти некуда, мыться нечем, просить их бесполезно — они только смеялись!

Ночью бредили и кричали. Одна сумасшедшая воображала себя дочерью Сталина и требовала, чтобы ее выпустили, другая начинала диктовать, вероятно, своей дочери и говорила очень громко: "Женни, сядь прямо и пиши, не болтай ногами" и т.д. Третья рассказывала о своем свидании с сыном, которое якобы было вчера, четвертая — о том, что только что говорила со следователем и т.д. Жутко, страшно было, и так шесть суток!

Однажды ночью на меня напала какая-то сумасшедшая и стала бить меня и стаскивать с места. Мне стали помогать освободиться от нее, но никто ничего не видел в крошечной тьме и били нас обеих, стараясь только отцепить друг от друга, оттолкнуть одну от другой.

Мы поняли, что наше путешествие на барже кончается, что нас подвозят к Волховстрою, и мы стали кричать конвою: "Не смейте бросать хлеб, дайте каждому в руки при выходе!" Очевидно, они побоялись нашей жалобы, да и накрали больше чем доволь-

но, а ведь на рынке хлеб был страшно дорог, да и все, что угодно, можно было иметь за хлеб. Когда мы стали ползком поодиночке подниматься по двум доскам с перекладинами из глубин нашего трюма, то на палубе сидел конвоир с корзиной хлеба и давал каждому кусок хлеба около 200 грамм и горсть хамсы.

Посмотрев на меня и на Рену, которая выполняла вслед за мной, он протянул нам по два куска хлеба, и я взяла в носовой платок две порции хамсы. Рена едва шла. Я взяла ее под руку и сказала ей:

— Возьми же хлеб, ешь его.

Она послушно положила кусок хлеба в рот и так и шла, держа его во рту и не в силах его разжевать. Попав в вагон, она сразу забилась внизу в самый дальний угол и сказала мне:

— Оставьте меня, я хочу умереть.

Я накричала на нее, заставила вылезти из угла, достала места на верхних нарах, принесла ей воды и принудила съесть кусок хлеба.

Когда мы вылезли из трюмов баржи, то растянулись и с трудом тащились по дороге, и я видела стоящих на холмах местных жителей, которые с нескрываемой жалостью смотрели на наше медленное продвижение, на почти раздетых людей, на босых, шедших по снегу, а были и такие — у них обувь отняли урки. Многие были в легкой летней одежде, некоторые только в платях, а ведь была середина октября и предстоял путь в Сибирь!

П у л ь м а н о в с к и й " т о в а р н ы й "

Наконец, подошли к железной дороге и нас стали грузить в большие товарные вагоны, где были в три яруса нары из досок.

Я внимательно следила, куда сядет компания блатных заправил, чтобы не попасть с ними. Мы все пятились и только, когда их погрузили, пошли к вагону.

Хорошо, что не попали с ними. Они всю дорогу — тридцать два дня — давали 58-й по полпайки хлеба, а сами жрали свое и чужое и грозили убить, если пожалуются. Только в самом конце пути кто-то из обиженных не выдержал и на какой-то станции сказал конвою, и тогда конвоиры вскочили в вагон и били эту же Липку и других мордами о вагонную дверь, но им это было хоть бы что — у них были толстые морды, а остальным это не прибавило здоровья,

отнятого у них за тридцать два дня голода в пути.

Пока нас грузили в вагоны, я наклонилась и, взяв пригорошню грязного снега, стала его есть. Так хотелось пить после шести дней на барже, что я просто не могла удержаться.

Это увидел конвойный офицер с одной звездочкой на погоне и закричал мне:

- Что вы делаете? Ведь это же грязь!

Но меня тут взорвало, и я тоже закричала:

- А вы что делаете? Мы идем с баржи и все умираем от жажды! Ведь я же уже старый и интеллигентный человек, и я ем снег, грязный снег! Что же вы-то делаете?

Он посмотрел на меня и сказал:

- Успокойтесь, в вагоны дадут воды столько, сколько будет вам нужно.

Действительно, после того, как погрузили нас 100 человек в этот Пульмановский товарный вагон, подали нам два бачка воды, и мы все сто человек бросились к бачкам с водой и началось то же, что и на барже, но в вагон вскочили конвоир, выхватил наган, и стал им бить нас по спинам и кричать:

- Отойдите от воды! Кто староста?

Я отскочила от бачка со своим черепком, которым старалась зачерпнуть воду.

Староста сама нашлась. Она вышла вперед и сказала:

- Я староста!

Это была Алла Грачева, красивая, молодая женщина и по-своему справедливая. Всю дорогу она давала всем их пайки, а себе брала лишние только когда умирали или не ели, уже умирая. Она говорила, что последний раз едет в лагерь, что у нее муж лейтенант (у них у всех мужья лейтенанты!) и ребенок 5 лет, что с прошлым будет покончено и она заживет честной семейной жизнью. В Томске она была расконвоирована, ведь она была из "социально близких", не то что мы "контрики", сидевшие по 58-й статье, мы не подлежали расконвоированию. Работала она на колбасном заводе, и в нее влюбился мастер, взял ее к себе домой, хотел жениться. В один прекрасный день Алла взяла из дома все наиболее ценное, и поймали ее где-то на базаре при продаже этих вещей.

Умирали как-то необыкновенно тихо, утром вдруг видишь: на полу под нарами лежит покойник. Раздевали обычно догола или

оставляли только в одной рубашке, и лежал труп, пока на третий день не начинали кричать: "Староста, надо сдать покойника!" . Тогда староста говорила конвой при получении хлеба и приварка в виде горсточка хамсы на каждого или ложки консервированного гороха, и конвой, спросив, сколько покойников, брал их на одной из станций. Покойнику волокли по полу вагона и скидывали на носилки, а на вопрос: "Кто это, как фамилия?" обычно ничего не могли ответить. Так у нас в вагоне умерло 10 человек из 101 за тридцать два дня пути до Томска от Волховстроя.

Были в вагоне поголовный понос и одна дырка в полу вагона, над которой всегда кто-нибудь находился. Понос был доброкачественный, не кровавый, но от этого было не легче. Ночью это отверстие тоже не пустовало, и было оно близко к лежащей под нарами покойнице, и иногда, кто-нибудь, кто боялся покойников и должен был идти на дырку, страдал от борьбы между необходимостью и страхом и шел только в сопровождении кого-либо и несся обратно на свое место, как ошпаренный.

Лежали мы, тесно прижавшись друг к другу, на трех этажах деревянного настила (нарах), и это спасало от жуткого холода, пробиравшегося к нам через стены, пол и потолок, а отопления никакого. Шляпки гвоздей покрылись инеем, мы соскребывали его и ели, пытаюсь утолить жажду.

Попали мы в вагон, зараженный тельными вшами, и очень быстро начали от них страдать. Их развелось тысячи. С утра, несмотря на холод, все раздевались почти донага и били вшей, били их днем, били без конца, но и им не было конца!

Мы страдали от вшей, от холода, от голода, и, главное, от жажды.

Поезд имел около 20 вагонов с заключенными, и в каждый вагон два раза в день надо было подать по два бачка воды. Конвой не успевал и не всегда даже мог достать воду. А уж какая это была вода! И какого только цвета она ни была и какого вкуса! А лишь бы была! Но ее не хватало, и мы на каждую большую станцию выезжали с криком из тридцати вагонов, где в каждом кричали все 100 человек по команде - раз, два, три... - "Воды! воды! воды!" .

/ . . . /

Что же мы делали в вагоне тридцать два дня пути? Били вшей с утра до вечера, съедали свою пайку, ждали воды, спали, пригревшись, прижавшись друг к другу, пели песни, всякие песни, на полный голос, на крик, говорили друг с другом.

Я лежала рядом с Реной и мы старались, как и на барже, забыть настоящее, вспоминая прошлое. Иногда мне было стыдно слышать и знать, что слышит Рена, — такие были разговоры, и я старалась ее отвлечь, рассказывая что-нибудь из пережитого. Мы боялись будущего, не могли себе представить, что и как будет дальше, строили невероятные планы побега, мечтали о нем.

Так прошло дней двадцать в этом вагоне, как вдруг я перестала есть хлеб, не могла себя заставить его разжевать и проглотить. Я знала, что это смерть, медленная смерть от голода!

Через пару дней открывается дверь нашего вагона и на перроне стоит, видимо, какой-то врач и спрашивает, кто у нас болен и хочет перейти в больничный вагон.

Я назвала себя, и на следующий день на какой-то остановке меня вызвали с вещами и перевели вперед в такой же товарный вагон, но там стояла печурка и на ней ведро с водой. Вода не закипала, но согревалась, а давали ее тоже по выдаче, и я так же хотела пить, сутками испытывая жажду, я мечтала о воде. Променяла кусок хлеба на стаканчик из-под простокваши и однажды ночью, когда убедилась, что все спят, подкралась к ведру с водой и украла стаканчик воды — блаженство! Но опять хочется пить, и так все 11 дней, что я провела в этом, так сказать, больничном вагоне. Но все же он меня спас, потому что я умолила одну из засевших вокруг топящейся печурки за шепотку чая поджарить мне кусок хлеба. Вот этот хлеб я могла съесть, и чем он был больше поджарен (его совали в печку, воткнув в него палку), тем он был мне вкуснее и, кроме того, он останавливал понос, так же как и чай, который я понемногу жевала и глотала.

Шпана, обсевшая печурку, не подпускала к ней никого без взятки, и мои две маленькие пачечки чая пошли на это, но я была спасена — я опять стала есть хлеб.

У этой печки сутками сидела еще молодая женщина со страшно опухшими ногами и сушила воду, выступавшую даже через чулки. В Томске, когда нам надо было выйти из вагона на мороз, я ей дала пару чулок.

Она как-то рассказала, что на заводе, где она работала, заклеивали окна синей бумагой, и на том окне, что она клеила, осталась маленькая щелочка, и кто-то ей об этом сказал, а она, смеясь, ответила: "Ну и пусть Гитлер заглядывает!". Ее присудили к расстрелу и только через 63 дня (!) заменили этот приговор на десять лет лагеря.

Уже в лагере на Яя я была в хороших отношениях с Марией Андреевной Гейке, работавшей кладовщицей. Узнав от кого-то, что она была приговорена к расстрелу, я осмелилась спросить у нее, за что, и как она себя чувствовала с этим приговором. Когда в начале войны Сталин выступал по радио и говорил: "Братья и сестры..." и т.д., то она сказала, что вот когда стал подлизываться и называть братьями и сестрами. Донесли же, будто она сказала: "Вот когда стал попу лизать". Она рассказала мне, что очень хотела остаться жить из-за дочери и, будучи религиозной, днями и ночами молила бога о жизни, что от слез ее горячих могли бы дырки сделаться в каменном полу. Гулять она не ходила, боясь, что это обман и поведут на расстрел, спала только с часу ночи до шести утра — в эти часы не расстреливали. Когда в камеру вошел начальник тюрьмы с бумагой в руке, она была уверена, что пришли брать ее на расстрел, и от ужаса долго не могла понять, что после 90 дней ожидания расстрела (90 дней!) ей заменили этот приговор десятью годами лагеря.

Нас не принял Новосибирск, и повезли в Томск. Вот, наконец, открывают двери и кричат: "Выходи!". Лезем из вагонов и начинают нас строить по четыре, но я быстро иду искать Рену, а она бежит мне навстречу, и мы становимся рядом и страшно боимся, не отморозить бы ноги. Обе мы одеты не для сибирских морозов. На мне тонкое осеннее пальто и берет, а на ногах легкие кожаные полуботинки. Топаем ногами около получаса, пока нас строят и считают и, наконец, отправляют в тюрьму. Это Томск 2-й, и тюрьма, к счастью, близко.

Попадаем в совершенно пустые камеры и в них стараемся занять место у отенки и лечь на пол, подложив под себя пальто. У меня мешок с вещами и еще есть чулки, рубашки, простыни и одеяло.

Когда в Томске выходили из вагона, то наша медсестра сказала конвоиру, что в вагоне осталась женщина, которая не может

сама выйти — она глухо стонала. Это была учительница Анисимова, и я с ней не раз разговаривала. Конвоир взглянул на сестру милосердия, махнул рукой и захлопнул дверь наглухо!

Т о м с к а я т ю р ь м а

Тюрьма переполнена. Каждая камера набита до предела. Все лежат на полу кругом по стенам и в середине головами друг к другу, и остается только небольшой круговой проход вокруг них, чтобы можно было по очереди ходить по этому кругу. Никогда не думала, что так бесконечно тяжело все время лежать или сидеть на полу.

В углу "параша", и на ее крышке разрешается по очереди посидеть несколько минут, чтобы отдохнули ноги — она заменяет стул. Пользоваться же "парашей" по прямому назначению разрешается только по "маленьким делам" и то, когда уже невтерпех. Выносятся она дежурными раз в сутки на двух палках, вставляемых в уши бочки.

"Оправляться" зовут утром и вечером в уборные, но боже мой, что это за ужас! Они загажены так, что в них не войти, и не знаешь просто, что делать и как тут "оправиться"! Хорошо, если наша камера попадает одной из первых, а если одной из последних? Но еще больший ужас — это когда надо их убирать буквально руками. Я просто не знала, как и приступить, и отдала половину пайки хлеба тому, кто сделал за меня эту работу. Правда, конвоиры давали полведра воды дежурным для мытья рук после уборки, ведь и тут воды не хватало, давали опять воду по выдаче — по полкружки два раза в день, и все страдали опять от жажды.

Ах эта жажда! Она мучила меня пять месяцев, и мне снился часто сон, что я у себя в квартире на Невском проспекте стою в кухне и из крана течет вода и я ее пью, пью без конца! Было чувство, что сохнет кровь, и вода была нужнее хлеба.

Тюрьма была переполнена, в ней было не менее двадцати тысяч человек, водопровод был испорчен, баня не работала. Вдруг команда собираться со всеми вещами, и нас повели, как всегда, неизвестно куда, а оказалось, что в баню. Мы разделись, сдали все вещи в вошебойку, а нас, голых, пропустили мимо двух конвоиров, поливающих нам на колову какое-то мыло "К", и велели ждать. Ожидание затянулось, и, чтобы согреться, стали танцевать.

Все мы смеялись и шутили, радуясь предстоящей бане, но нас насухо прогнали через нее и выкинули горячие вещи из вошебойки.

Правда, вшей сразу почти не стало, и я впервые видела людей, сидящими спокойно, а то до этого мы три дня кричали — дайте баню, дайте вошебойку! — и непрерывно, как и в вагоне, били вшей. Моя соседка была их и считала и досчитывала до пятисот, тогда я ей сказала: "Да бросьте вы это дело, посмотрите на пол — разве их можно всех перебить?". Но вот после вошебойки и дезинфекции камеры было несколько дней легче, а там опять вши расплодись, ведь нас-то не мыли, а не мылись мы вообще с выезда из Ленинграда, то есть полтора месяца! Ах, как хотелось помыться!

Водили нас гулять один раз в день на десять минут и, несмотря на запрещение, мы старались набрать в наволочки и полотенца снега и хоть им как-то потереть руки и лицо.

Нас прогнали через вошебойку и насухо через баню три раза, и вши почти пропали.

Вошебойка тоже не очень-то легкое дело. Надо умудриться повесить всю свою одежду на большое металлическое кольцо, кончающееся с одной стороны крючком, а с другой петлей. Через час выкидывают эти кольца с горячей одеждой горой на прилавок, где их принимали, и тут творится что-то невообразимое, и под дикий мат в страшной толчее надо найти кольцо со своими вещами и схватить побыстрее, а то снимут с кольца что-нибудь и пиши пропало. Потом строят по двое и ведут в камеру и очень часто не ту, что занимали раньше, и тут надо захватить хорошее место у стены и все это в драку. Нервы и так были истрепаны и утомлены баржей, поездом и всем пережитым, а тут крик, мат, драки...

Ужасен в тюрьме "шмон" — обыск в камере. Всех выгоняют в коридор и велят сесть на коротчки у стен, а в это время в камере обыскивают вещи, вытаскивая их из всех мешков и кульков и бросая их потом, куда попало. Что ищут, трудно понять, но если найдут нож, ножницы или деньги, то забирают.

Когда пускают в камеру, то происходит что-то невероятное: каждый стремится собрать свои вещи, но некоторые из них попадают к тем, кто не жаждет их отдать, и тут опять крики, мат, драки, мольбы и т.д.

Наконец, все это успокаивается и все лежат изнеможенные на своих местах, ожидая обеда или ужина, прислушиваясь к зву-

кам, оповещающим об этом.

Баланда (жидкий суп) на обед, баланда на ужин и кусок хлеба в 400 грамм с утра.

Горшков не хватает, их не моют — нечем, воды не хватает на питье, и едят одни, а после них другие, от голода исчезла брезгливость. Уже в поезде мы пили воду по сорок человек из одной посуды — ведь у нас перед этапом отобрали наши собственные кружки и ложки. Когда после тридцати восьми дней сухоядения в пути в тюрьме дали горячую перловую кашу и не было, чем ее есть, то мы, обжигаясь, хватали ее руками и совали в рот, мы не могли дождаться, пока она остынет или поедят счастливец, имеющие ложки, и дадут их нам. Было так изумительно чудесно есть горячую кашу! /.../

Самое значительное событие — это получение хлеба. Утром отворяется форточка в двери, и староста принимает пайки хлеба. Она должна класть их на стол (единственная мебель в камере) в порядке получения, а выдавать их в том же порядке, но сегодня начиная с этого края, а завтра с того, а послезавтра с середины и т.д. За этим строго следят сорок пять пар глаз! А руки, которые берут хлеб?! У Ст.Цвейга есть рассказ "Двадцать четыре часа из жизни женщины", и там описываются руки игроков, но когда я видела, как руки заключенных берут хлеб — мне хотелось написать о них!

А как осматривают и ощупывают свою пайку! К этому полкружки воды, и начинается день с ожидания баланды на обед и такой же баланды вечером, а там опять сон и все сначала.

Гулять водили на десять минут и иногда, когда еще совсем темно, часов в шесть — семь утра, буквально "при звездах и при луне", а иногда к вечеру. Открыв форточку в двери, надзиратель кричит: "На прогулку собирайся!". И вот оденемся, кто во что может, и идем и полчаса и больше, и жарко станет, и думаешь уже раздеваться, как крик: "Выходи, стройся по двое, не разговаривать!" Идем во двор, где в сильный мороз боишься и за десять минут отморозить ноги в полуботинках и бегаешь по кругу, стараешься надыхаться воздухом на сутки. Я всегда ходила гулять в своем осеннем пальтишке, даже когда надзиратель говорил, что могут идти только желажущие, что на дворе 40° мороза, и только поверх берета завязывала полотенце, чтобы не замерзли уши.

Еще на барже я или Рена, не помню сейчас, нашли пять рублей и зашили их в воротник пальто, и они остались там при всех обыс-

ках, а тут как-то конвоир говорит в форточку, что имеющие деньги могут купить соленые огурцы и грибы по 5 рублей за килограмм. Кое-кто пошел покупать, и нам очень уж захотелось этих огурцов и грибов. Мы срочно достали заветную бумажку и отправились тоже в конец коридора, где они продавались. Там я увидела, как отпущавший их конвоир курил папиросу, и мне так безумно захотелось курить, что я попросила у него папиросу. Он откинулся на стуле, окинул меня наглым оценивающим взглядом и сказал с великим презрением: "А на что ты мне?!". Меня как будто хлестнули по лицу, и я быстро вышла и, идя по длинному тюремному коридору, дала себе слово никогда, да, никогда не просить ничего у "них".

В вагоне поезда курящие ужасно страдали без курева, особенно проститутки, а их было среди нас немало. Стали распускать вискозные чулки, штаны и рубашки и делать из этого духа закрутки. Я тоже страдала, но сделав закрутку и потянув в себя дым, так задохнулась и закашлялась, что навсегда отказалась от этого "адского зелья".

Шли дни, и наступил новый, 1942, год. Я и Рена спрятали в этот день по кусочку хлеба и съели его ночью, поздравив друг друга и пожелав счастливого решения судьбы.

Мы не имели никаких сведений о том, что делается "на воле", мы даже не знали, есть ли война и что у нас на фронтах, мы были отрезаны от мира и наглухо замурованы в тюрьме.

Но вот! 11 января открывается форточка и вызывают людей и называют фамилию Рены*. Надо немедленно собраться с вещами, а казенные оставить. Куда-то отправляют - вот оно!

Рена как-то вся сжалась, помертвела, холодными губами поцеловала меня и вышла с другими. Стало пусто и грустно, когда она ушла. Что дальше? Когда я уйду отсюда и куда? Увидимся ли мы когда-нибудь?

Однажды в камеру впустили нового человека, Марию Сергеевну Шутову. Ее арестовали беременную, и она попала к нам из больницы в Томске, где лежала после родов, которые прошли в тюремной камере. Нож обрезать пуповину просили у конвоира в коридоре, и

* Ирена Яновна Прокопович живет и сейчас с гор.Боровичи Новгородской области, куда приехала, списавшись со мной, и где работала учителем, окончив там Педагогическое училище.

кончились эти роды таким кровоточением, что ее вынуждены были отправить в городскую больницу,[‡] и у двери ее палаты дежурил конвоир. Новорожденную отдали в дом малютки, где она умерла через три месяца, о чем матери сообщили кратким официальным извещением.

/.../

Мне понравилась Шутова, не терявшая бодрости ни в каких условиях, взявшая от отца, графа Татищева, и матери, графини Толстой, интеллигентность и воспитанность, крупное сложение и ясность и твердость характера. Вся ее семья пострадала, все были в лагерях. Она носила фамилию мужа, но это не спасло ее, младшую в семье, от той же участи. На Яя мы жили с ней в одном бараке и дружили. По вечерам изредка залезали к ней в ее довольно уютный закуток и втроем (она, я и Там.Ив.Купфер) беседовали о прошлом, вспоминая смешное и интересное, а иногда развлекались тем, что "заказывали", кто обед, кто ужин или завтрак, какой мы бы хотели сейчас иметь.

/.../

В каких только камерах не пришлось сидеть! Была и в такой, где было 500 человек и где посередине стояло пять "параш" и всегда кто-нибудь был на них. Была и в камере над вошебойкой, где пол был настолько горячий, что приходилось всю одежду класть на него, чтобы можно было лечь, а сами мы все раздевались почти догола и дышать было нечем.

/.../

Как-то в одной из камер уже незадолго до отправки из тюрьмы наши уголовники вдруг стали необычайно внимательны ко мне - и вот вам место, полежите днем, и расскажите о себе, да то, да се... Что бы это значило? С опаской принимаю их внимание, но вдруг открываются двери камеры и кричат: "58-я, выходи с вещами!". О счастье, о радость, наконец-то отделяют 58-ю от уголовных! Давно бы так, ведь при царизме политических никогда

[‡] И то только потому, что совершенно случайно тюрьму в это время посетил какой-то врач, посланный ее обследовать, а это бывало более чем редко. Ему были вынуждены показать эту тюремно-больничную камеру. Врач увидел женщину, лежащую без сознания, и распорядился немедленно отправить ее в городскую больницу.

не смешивали с уголовными, то есть "социально близкими", как их теперь называли.

Потом уже мои товарки сказали мне, что они слышали, как "урки" сговаривались отобрать у меня последние вещи и только случайно им это не удалось.

/.../

К счастью, через несколько дней стали вызывать на отправку и я была вызвана в числе других. Погрузили нас в вагон и пока-тили мы куда-то...



ЭТАЖЕРКА



(ПУБЛИКАЦИИ)



СВОБОДА И КУЛЬТУРА

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

подъ редакціей С. Л. ФРАНКА

при ближайшемъ участіи

Петра Струве

10 АПРѢЛЯ 1906 Г.

2

Николай Бердяев

О ЦУТЯХ ПОЛИТИКИ*

Свои "Чтения о Богочеловечестве" Вл. Соловьев начал словами: "Я буду говорить об истинах положительной религии - с предметами очень далекими и чуждыми современному сознанию, интересам современной цивилизации. Интересы современной цивилизации это те, которых не было вчера и не будет завтра. Позволиительно предпочитать то, что одинаково важно во всякое время. Впрочем, я не стану полемизировать с теми, кто в настоящее время отрицательно относится к религиозному началу, я не стану спорить с современными противниками религии, - потому что они правы. Я говорю, что отвергающие религию в настоящее время правы, потому что современное состояние самой религии вызывает отрицание, потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть. Религия, говоря вообще и отвлеченно, есть **связь** человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего. Очевидно, что если признавать действительность такого безусловного начала, то им должны определяться все интересы, все содержание человеческой жизни и сознания, от него должно зависеть и к нему относиться все существенное в том, что человек делает, познает, и производит. Если допустить безусловное средоточие, то все точки жизненного круга должны соединяться с ним равными лучами. Только тогда является единство, цельность и согласие в жизни и сознании человека, только тогда все его дела и страдания в большой и малой жизни превращаются из бесцельных и бессмысленных **явлений** в разумные, внутренне необходимые **события**. Совершенно несомненно, что такое всеобъемлющее, центральное значение должно принадлежать религиозному началу, если вообще признать его, и столь же несомненно, что в действительности для современного цивилизованного человечества, даже для тех в среде его, кто признает религиозное начало, религия не имеет этого всеобъемлющего и центрального значения. **Вместо того, чтобы быть всем**

* Мы помещаем статью Н.А. Бердяева, критикующую философско-политическую позицию, которую занимает редакция "Полярной Звезды" и "Свободы и Культуры", в интересах свободного всестороннего выяснения вопроса об отношении между религией и политикой. Р.

во всем, она прячется в очень маленький и очень далекий уголок нашего внутреннего мира, является одним из множества различных интересов, разделяющих наше внимание".

Слова эти очень интересны и важны для нас, немногих, поднимавших вопрос об отношении между религией и политикой, вызывавших столько недоумений и недоразумений своей мечтой о религиозной общественности[‡]. Скоро, надеюсь, уже настанут времена, когда проблема эта, "очень далекая и чуждая современному сознанию, интересам современной цивилизации", сделается самой большой и важной. Сознают, наконец, что "то, что одинаково важно во всякое время", ближе и роднее существу человеческому, нужнее для его спасения, чем то, чего "не было вчера и не будет завтра". Тогда услышаны будут слова, связывавшие "политику" и все огромное, что в России совершается, с вечностью, тогда перед судом ее будут устанавливаться ценности.

Еще недавно у нас почти безраздельно царили современные "интеллигентные" варвары, "позитивистические" дикари, отрицавшие всякую религию и религиозность, возстававшие против религии с почти религиозным фанатизмом. Но вот идет новая порода людей, более культурных, более утонченных. Это переходное поколение освобождается от нигилистических манер и допускает религию в числе других переживаний, разрешает ее, как составную часть культуры. Но религия у них загоняется в "очень маленький и очень далекий уголок нашего внутреннего мира, является одним из множества различных интересов, разделяющих наше внимание". Запрещают религиозным переживаниям выходить на свет Божий, их рекомендуют скрывать, таить в себе, ни в чем не в о п л о щ а т ь, избегать соборной религиозной чувственности, как колдовства и суеверия, в мир и совместную жизнь людей устраивать на иных, не-религиозных, позитивистических началах. Боюсь, что такую отвлеченную, бесплотную и бескровную, ни для чего не нужную религиозность отстаивала и редакция "Полярной Звезды", насколько об этом можно судить по статьям П.Б.Струве и С.Л.Франка. Это ужасно - довести свой отвлеченный формализм до того предела, до которого довел его Струве, когда говорит, что "внутренне

[‡] На страницах "Полярной Звезды" вопрос этот поднимался Булгаковым, Мержиковским и мной, а с иной точки зрения Франком, Струве, Гревсом и Галичем.

терпимо относится даже к религиозности церковной[✱], хотя в церковности видит ложь и зло. Не только в религиозном, но и в культурном отношении окажется бесплодной и нетворческой та точка зрения, для которой Вольтер так же хорош, как католический храм, и ... все кошки серы. Хорош Вольтер, хорош и католический храм, эстетически мы восхищаемся предметами самими противоположными, но творец должен быть чем-то, не пустой формой, обладать качественным содержанием. Если бы все думали и чувствовали, как Струве и Франк, писали бы формальную декларацию прав, то не было бы ни Вольтера, ни католического храма, никаких воплощений и творческих продуктов, так как католицизм создал храм, так как просветительный рационализм создал Вольтера. Нужно перейти от отвлеченного формализма, от "идеализма" и "иллюзионизма" к реализму в религии, к органической полноте, к содержанию будущей культуры.

Страшно и отвратительно - это раздробление и разорванность современной души, эта потеря индивидуальности. Человек в полноте своего бытия исчез, остался, разложился, только части, куски, оторванные, отвлеченные от целостного существа живут какой-то самостоятельной и, в сущности, призрачной жизнью. И жажда воссоединения, возврата к полному и цельному бытию, к всеединству - религиозна, утоляется она в живой мистике. Это понял Ил. Соловьев в своей глубокой критике "отвлеченных начал", хотя сам иногда владел в утверждении "отвлеченных начал", напр., в морали и отчасти в государственности.

То, что мы говорим о связи политики с религией, о вечном смысле во временном и преходящем, потому только кажется оторванным от "жизни", что в самой жизни все разорвано, оторвано одно от другого. Кто живет "отвлеченной" политической жизнью, считает лишь политику истинным бытием, лишь в политическом пути видит спасение, тот "жизнь" отождествляет с самодовлеющей политикой, а все остальное, всю бесконечную полноту жизни - "жизнь" не признает, называет "отвлеченностью", хотя сам более всех в "отвлеченности" повинен. Так ученый видит истинную "жизнь" в своей науке и часто ее почитает единственной, Дон-Кихот - в любовных похождениях, художник - в своем искусстве. Отвлеченная, самодовлеющая политика так же цдрит в современном

✱ "П.З." Б-13, с.130.

мире, как и отвлеченная, единоспасательная мораль, они порабощают нас, пользуясь раздробленностью жизни и разорванностью души. И все существо наше восстает против веры в эту единоспасательную политику, против утверждения политических страстей и политической воли к власти, оторванных от религиозного центра жизни, против государственного устройства земли и благоденствия в нем, как последнего мерила и высшей ценности.

Неправедны пути политические, и невозможно отвлеченной, оторванной от смысла жизни политикой спасти человечество, очеловечить его, убить в нем зверя первобытного и зверя грешного. Мы не можем и не должны мириться с оторванностью современной политики от конечных идей, от религиозных страстей, с тем оппортунизмом, который хочет устроить жизнь независимо от смысла ее, сегодняшнее и завтрашнее отвлекает от вечного. Плоды этих путей политики, этой безрелигиозности уже известны, индивидуальность человеческая уже загублена была на этих путях, дух угашен и человечество приведено к бездне пустоты.

Вся трудность и ответственность нашего положения в оценке русской революции и всех новейших революций и вся наша задача воссоединения политики с религией в том коренится, что мы не можем смотреть на исторический процесс, как на отрывание зла и торжество добра, просто как на улучшение, в котором всё, чему мы говорим "нет", — в прошлом, чему говорим "да", — в будущем. Для нас будущее двойственно, в нем грядет не только небывалое добро, но и небывалое зло, в нем должны разыгаться для последней битвы противоположные начала мировой жизни. Есть не только зло первичное, начальное, с которым ведется освободительная война, но и зло последнее, конечное, которое не побеждается, а выявляется прогрессом. В этом трагедия мировой истории и невозможность чисто человеческого ее разрешения. Этот мир нельзя так усовершенствовать и устроить только человеческими, рациональными путями, чтобы исчезло в нем мировое зло (не моральное, а религиозно-метафизическое зло), чтобы он укрепился навеки, реформированный до совершенства.

В революции скрывается великая правда, святое освобождение человечества от изначального порабощающего зла, с двумя неправдами: неправдой прошлого, безбожной государственностью, самодержавиям, преступно отрицавшим безусловное значение человеческого лица, и неправдой будущего, религией земного устройства че-

ловечества вне Бога и против Бога, всеобщим обезличением, новой безбожной государственностью, зарождающейся уже в позитивной социал-демократии. Мистический смысл революции в том, что два зверя встретились в ней лицом к лицу и в таинственной какой-то точке совпали: первобытный зверь, отпечатлевший свою бесчеловечную и безбожную природу на насильственных государствах, на чудовищах — Левиафанах, на царях земных, на всех преступлениях, совершаемых сильными и властвующими, и конечный зверь, зарождающийся в идеалах человеческого муравейника, окончательного устроения, принудительного счастья, за которое продается вечность и свобода, в религии небытия, провозглашаемой позитивизмом.

С двумя образами зверя должна равно бороться вечная правда революции. Такой правдой является прежде всего провозглашение свободы, восстание против всякого превращения личности в предмет, декларация прав человека, которая и исторически имеет религиозное происхождение, родилась в религиозных общинах Англии. Тут религиозный корень политики, который есть и у конституционно-демократической партии и у других освободительных партий, но не религиозная политика еще, не то воссоединение в полноте, о котором мы мечтаем. Человеческое лицо имеет абсолютную ценность, как сосуд, вмещающий божественную бесконечность, и не может быть подчинено таким фиктивным, не божеским и не человеческим ценностям, как государственность, национальность, утилитарная общественность, противопоставать ему, как высшее, можно только Бога и соединение в Боге.

Русская государственность, от которой мы теперь кровавыми усилиями отрываемся, которую должны преодолеть, чтобы не погибнуть окончательно, была самым крайним, самым чудовищным, в истории еще невиданным утверждением "отвлеченного" политического начала. Самодержавие соединило себя кощунственно с православием, получило по видимости религиозную санкцию, и все наши консерваторы, ныне откровенные черносотенцы и хулиганы, исповедывавшие свою веру в формуле "самодержавие, православие и народность", но мы встречаем здесь самый яркий пример религиозного обоготворения государства, признание государственности ценностью высочайшей. Этот абсолютный цезаризм не христианского происхождения, он исторически унаследован от языческого Рима через Византию, от первобытной языческой Руси, и религиозно непримирим с царством Христа. Кесарю поклонились, как Богу, государству,

как церкви, политике, безбожной и бесчеловечной, поработили человека, образ и подобие Божие. Тут фикция государственности и связанной с ней национальности, оторванная от религиозного центра бытия, отвлеченная от всех человеческих и божеских ценностей, ведет самостоятельное существование Зверя-Левиафана, существование призрачное, истинную жизнь умерщвляющее. Только Бог может быть поставлен выше человека, только божественным ценностям могут подчиниться ценности человеческие, а государство, национальность, бытовые особенности, старые устои, которым поклоняется наш консерватизм, которые он возлюбил превыше Бога и человека, ведут к настоящему культу сатанизма. Черная сотня и черное наше правительство отслужили уже по всей России свою черную мессу.

Русская насильственная государственность есть организованное преступление, организованное попираие Божеских и человеческих законов, и страшная звериная морда, которую открыла теперешняя реакция, ясно говорит, какая религия скрывается под самодержавием, вступившим в историческую сделку с православием. Кажалось бы, религиозный человек, возлюбивший Бога и Христа утвердивший в центре всего, должен говорить: да погибнет нация, государство, весь устроенный быт, все призрачные ценности земные, если они покупаются ценою попираия заповедей Божьих, если безбожные преступления должны во имя их совершаться. Но исповедующие религию отвлеченной государственности более всего полюбили порядок на земле, устройство своего быта. Религия государственности, к которой сводится русский консерватизм, всегда смотрит на человеческое лицо, как на средство, как на орудие для "высших" государственных, национальных, бытовых и т.п. призрачных ценностей. Нет таких кровавых человеческих жертв, пред которыми остановилась бы эта религия государства, все дозволено для отвлеченной политики консерватизма, нет пределов истязаниям над человеком совершаемым во имя Левиафана. Союз самодержавия с православием, государства с церковью не одухотворил и не освятил государство, а, наоборот, умертвил святость церкви, обездушил ее. И осталось государство безбожным, бесстыдным и звериным, служащим не Богу и человеку, а третьему, источнику зла в мире.

Поразительно, что то же безбожное и безличное, насильническое государственное начало, та же несправедливая "отвлеченная" политика появляется и на полюсе противоположном. Неправда рево-

люди — во взгляде на всякое данное человеческое поколение, лишь как на средство для поколений будущих, на человеческую личность, как на средство для блага человеческого общества, для новой государственности. И реакция, и революция сначала отрывает политику от вечных ценностей, делают ее безбожной, а потом все ценности подчиняют политике, превращают политику в ложного бога. И проглядывает морда все того же зверя. И реакция, и революция одинаково расценивает всё содержание жизни по критериям политическим, по полезности для целой государственности, старой или новой, и ничего не признает самоценным. Неправедно разжигать "отвлеченные" политические страсти, черносотенные или красносотенные, так как это путь озверения, а не очеловечения. Нет красоты в лицах, искаженных злобой чисто политической, и красивы лица, горящие негодованием человеческим. Неправедно политику признавать центром жизни, ничем не одухотворять плоть политическую, ей подчинять все богатство бытия. Неправеден путь борьбы политических партий, оторванных от центра жизни, от смысла ее. Неправедна жажда политической власти и господства, опьяняющая современные общественные силы. Довести политику, как таковую, до крайнего минимума, до окончания политики, до растворения ее в культуре и религии — вот что должно быть нашим регулятивом, вот хотенье наше, вот истинное освобождение. Политическое освобождение есть освобождение от политики. Нельзя убить зверя политики, зло старой государственности, одной "отвлеченной" политикой, новой государственностью. Нужно государственности, насилию, власти, "отвлеченной" политике противопоставить иное начало внесоциальное, иную не насильственную общественность, не новое политическое насилие, а свободу иных путей. Нужно зверя не зверем укротить и уничтожить, а высшей мощью, все звериное низвергающей и преобразующей. Глубокая и вечная правда была сказана Л. Толстым о государстве, о звере политики, о безбожии насильничества. В этом мы должны учиться у Л. Толстого, признать его более христианином, более себе близким, чем Достоевского, Вл. Соловьева и Мережковского (который только в самое последнее время стал на верный путь). Но нам чужд и далек религиозный рационализм Л. Толстого и его отношение к культуре. Новый религиозной общественности толстовство не может создать, не может вести к ней, так как правда толстовская лишь критическая и творчество религиоз-

ной мистики отрицания. Из исключительной европейской относительная, но недостаточно замеченная правда есть у Прудона, в его все же идеалистическом анархизме, в его пути выходящего из государственного общественного созидания. Не к "непротавлению злу" мы признаваем и не борьбу отрицаем, а зовем к иному противлению, к иному пути борьбы.

Мы допускаем существование нейтральной человеческой социальной среды, в которой происходит процесс очеловечивания, исходя из состояния природного и зверского, элементарного освобождения от первоначального зла. Процесс этот может обладать первоначальной святостью и не заключать еще в себе сверхчеловеческого начала в религиозно-положительную или религиозно-отрицательную сторону. Так, например, в либерализме и социализме есть человеческая праведность, элементарное очеловечивание, элементарное освобождение от зверского порабощения. Образ человеческий открывается, личность человеческая поднимается для разрешения смысла истории. Но правда либеральная и продолжительная ее социалистическая правда по преимуществу отрицательная и слишком элементарная. Чисто либеральные и чисто социалистические общественные пути устраняют зло несомненное, зло насилия и эксплуатации человека, но влекут они за собой в будущее не только добро, но и новое зло. Из нейтральной человеческой среды должны вырасти, должны из нее развернуться полярно-противоположные религиозные начала, уже сверхчеловеческие, из которых только одному мы можем сказать свое "да". Например, в позитивной социал-демократической религии из нейтральной человеческой среды (праведного социализма, не мнящего себя религией) рождается сверхчеловеческое начало, в религиозном отношении как враждебное и позитивное, царство князя мира сего, Великого Инквизитора, новая безобаянная государственность, царство меланхаста.

Весь производственный, экономический процесс человечества по преимуществу должен быть отнесен к нейтральной человеческой среде, он освобождает человека от первоначальной власти природы, организует его питание, создает почву, из которой вырастает культура с самими противоположными своими результатами. Но эта нейтральная социальная среда легко может сделаться орудием дьявола, может превратиться человеческое добро в сверхчеловеческое зло. Восьми-часовой рабочий день есть несомненное человеческое добро по сравнению с 12-ти часовым рабочим днем и

его должно добиваться, но из этого человеческого блага могут вырасти цветы и белые и черные. Мы приветствуем и поддерживаем всякое освободительное движение, политическое и экономическое, еще человечески-нейтральное, но должны противодействовать его переходу на противоположный нам сверх-человеческий путь, а политика "отвлеченная", оторванная от религиозного центра бытия, слишком легко превращается из несомненного человеческого блага в сверх-человеческую ложь. Мы приветствуем нейтральный, не превратившийся в религию социализм, победляющий эксплуатацию и организующий питание, но должны воссоединить его с религией истинной, чтобы противостоять надвигающейся социалистической лже-религии. Как бы мы ни относились к нейтральной социальной среде, какие бы религиозно-нейтральные, но человечески-хорошие действия ни совершали, мы теперь же должны вступать на новый религиозный, не "отвлеченный" путь. Должны создавать не религиозную политическую "партию", что внутренне противоречиво, а религиозное общественное движение, религиозную культуру*.

Всякая либеральная, демократическая, свободолюбивая политика стремится устранить противоположность между государством и обществом, растворить государство в обществе. Правовое государство, говорят, есть государство общественное, народное, оно само общество, а не сила, вне общества лежащая и его давящая. Мы можем и должны приветствовать очеловечивающий процесс растворения, таяния государства в обществе, но безбожную и бесчеловечную стихию государственности, насилия, власти, стихию безличности, не победит ни правовое государство, ни государство социалистическое, ни даже авторитарное государство, никакое безличное начало. Говорят "анархическое государство", потому что анархисты — позитивисты, материалисты никогда государства не преодолеют, никогда из царства насилия не выйдут, никогда свободной общественности не создадут, л и ч н о с т и не поставят в центре. Безбожное насильничество, сатанинское властолюбие,

* У Марцковского до сих пор отсутствовало понятие нейтральной, человечески правильной социальной среды, и потому он слишком резко все делил на царство Христа и царство Антихриста.

безличность мы должны провидеть и в государстве либеральном и социалистическом, а не только в самодержавном. Если в прошлом государство и имело какую-нибудь добрую миссию (что должно быть ограничено), то миссия эта давно прекратилась, государство не служит уже культуре ни в какой степени, настали времена, когда не может уже быть великих государственных идей, когда внегосударственные, надгосударственные идеи должны царствовать и вдохновлять. Мы не верим в рационалистическую утопию Толстого или анархистов-позитивистов, не думаем, чтобы государственность могла быть теперь уже уничтожена, чтобы насилие и власть могли быть сейчас уже изгнаны из мира. Звериная стихия насилия и власти будет жить и является в новых образцах. Но должен быть избран путь, на котором парализуется стихия государственности, насилия, зверства, безличности, на котором образуется иная, светлая, свободная сила, должно быть найдено противоядие против соблазнов государственного позитивизма. И принять мы можем только "политику" культурно-анархическую в своей тенденции, анархическую не в смысле утверждения насилия, а в смысле отвержения всякого насилия, не анархию хаоса и мирового распада, а анархию свободной гармонии и божественного соединения. Мы не можем участвовать в осуществлении власти, потому что никакую власть государственную не признаем праведной, потому что не верим в то совершенное государственное состояние, которое силой хотелось бы поддерживать и право было бы поддерживать, потому что л и ч н о с т ь не можем забыть. Старым политическим, государственным страстям должно противопоставить не новые политические же, государственные страсти, а новые религиозно-общественные и религиозно-культурные идеи. И на этой почве может быть выработана особого рода тактика, можно представить себе ряд этапов, ступеней, по которым пойдет новая вне-государственная общественность, союз свободы и любви. Общественность свободная и любовная, не государственная и не насильственная, общественность л и ч н о с т е й, может быть только религиозно-мыслима и религиозно-созидаема, но в отрицании старых форм государственного гнета и экономической эксплуатации мы можем соединяться с либералами и социалистами, можем с ними сотрудничать, становиться на те же ступеньки, никогда не сливаясь ни с какой "отвлеченной" политикой. В "политике" мы должны поддерживать децентралистические, федеративные тенденции, все, что ослабляет

силу власти, что превращает государство в земское хозяйство, в самоуправляющиеся общины, все, что дает перевес правам личности над государством, все вне-государственные общественные образования.

Неверно думать, что лишь стремление к власти, к государственному устройству есть творческая политическая деятельность. Наш "анархизм" не есть дезорганизация и разрушение. Эволюционным и реформаторским путем может быть создаема общественность не государственная и личность не насилующая, и может отмирать в сердцах людей любовь к власти и культ государства. Самое важное дело — умерщвлять государствовлюбие, властолюбивые политические страсти и заражать сердца людей иной любовью. "Отвлеченная" политика никогда не углубится до этих корней, всегда останется на поверхности и будет создавать призрачное государственное бытие. "Отвлеченная" политика знаменует собой величайший разрыв между индивидуальным и универсальным, между интимным и соборным, пытается навеки укрепить эту мучительную противоположность.

Индивидуализм говорит: индивидуальное есть высшая ценность, но оно не должно иметь никакого отношения к миру, к истории, к общественности; политика, устраивающая вселенную, должна быть отвлечена от самого важного и дорогого для каждого существа. Этот индивидуализм допускает религию, как интимное переживание индивидуума, но не позволяет перелиться этому интимному переживанию в универсум, воплотиться в историю, преобразить общественность. Они думают, что это и есть настоящий индивидуализм, а нас упрекают в измене индивидуализму, в подчинении интимного объективности, но тут ужасное недоразумение, тут злоупотребление словами. Мы, именно мы — индивидуалисты, так как хотим, чтобы миром правило чаще индивидуальное, чтобы мир перевернули интимнейшие наши переживания, ценностям нашим хотим покорить всю эту кажущуюся объективность. Например, красота есть достоинство интимного и индивидуального переживания, и о ней нужно как можно меньше говорить, как можно меньше ее заниматься, как можно меньше вывешивать ее, рассуждают так называемые "индивидуалисты", некрасивое, вне-красивое, "отвлеченная" политика спасет мир, человеческое общество перевернет историю. Красота, интимное и индивидуальное, должна спасти мир, преобразить общественность,

говорим мы, по ту сторону красоты нет и не может быть новой, праведной общественности. Перед чудом красоты смирится мировое зло. Это значит, что мы говорим: индивидуализм должен быть отвержен до универсализма, должен быть царем вселенной, т.е. превратиться в соборность, воплотиться. И история в этом за нас. Она полна религиозными общественными движениями, религиозными культурами, индивидуальными, ставшим соборным, воплотившимся, а не отвлеченным, она знает великие произведения искусства, в которых интимная религиозность переливалась в мир и поворачивала ход истории. Таковы все органические, истинно-творческие исторические эпохи. Мы жаждем небывалой, новой органической эпохи, в которой то, что ныне для лишь немногих интимно ценно, воплотится в мир, станет соборным, станет плотью, а не отвлеченностью, примеры подобного рода бывали и в греческой культуре, и в раннем итальянском ренессансе, и во все периоды общей мистической чувственности. Нет никаких оснований видеть в раздробленности нового времени, в рационалистической отвлеченности, в отсутствии органической чувственности полного бытия — вечную норму жизни. Нужно освободиться от гипноза новых времен, от суеверий рационализма. Зарождение и обострение религиозного индивидуализма характерно для нашей эпохи, с нее начинается кризис рационализма и анти-религиозного позитивизма, протест против рассудочной, отвлеченной культуры, ужас небытия, восстановление прав романтической мечты, но это лишь переходное состояние. Окончательный переход к органической и творческой эпохе, к соборной религиозности, возможен не путем реставрации старой исторической формы религии, а лишь путем раскрытия нового религиозного сознания, вмещающего в себе и всю старую истину и вместе с тем творчески продолжающего дело вечной, безмерно полной религии. Новый универсализм, новая религиозная соборность из индивидуализма родится, через л и ч н о с т ь и ее свободу пройдет.

Мы не новую хотим выдумать религию, а единую вечную раскрывать в новом религиозном творчестве. Одно христианство не может нас уже спасти не потому, что оно ложь, а потому, что неполная истина, не вместившая всей полноты нашего опыта и наших хотений, потому что в нем открылась, хотя очень важная, центральная, но часть истины. В христианстве, взятом в его исторической относительности и ограниченности, нет еще положитель-

ной общественной правды, не вмещает оно еще всего дорогого нам богатства культуры, есть Богочеловек, но нет еще Богочеловечества. Исторической христианство, аскетическое, бесплотное, — индивидуалистично, лишь о личном небесном спасении говорит, и нельзя найти в нем правды земной, соборного спасения и преобразования земли, плоти мира. Религия Христа была центральной точкой всемирной истории, из которой можно понять весь смысл истории, но христианство осталось оторванным от этого смысла всемирной истории, для него как бы выпало все, что совершалось великого в истории, все творчество культуры, все мечты об общественном преобразении земли. Смысл религиозного кризиса, который обострился в современном человечестве, хотя не многими еще сознается, в том заключается, что нельзя уже успокоиться ни на старой аскетической, бесплотной, не общественной и не культурной религии, ни на новой, уже состарившейся, земной безрелигиозности. Потому так легко соединяли христианство с каким угодно политическим изуверством и кощунственно прикрывали им людоедские реакционные инстинкты, что в христианстве, только христианстве, не была открыта еще правда о религиозной общественности, о религиозной земной культуре. И с представителями исторической церкви "блудодействовали цари земные". Не сошел еще явно на общественное человечество Дух Утешитель, обещанный Христом, тело человечества не сделалось еще богочеловеческим, святой общественностью и святой культурой, вмещающей бесконечную полноту бытия. Христианские праведники спасались индивидуальным подвигом и молились за грехи мира, но праведности общественной, культурной, всемирно-исторической мы только ждем. Тогда она победит старую безбожную государственность и новую безбожную государственность, тогда она освятит великую мировую культуру, освятит землю.

Можно даже поставить вопрос: была ли до сих пор истинная церковь в историческом воплощении, не была ли религия индивидуальной в своей правде, а соборность — не заключенной в круг, свободной мистикой? Преступления церкви против земли, против земной правды, против культуры и свободы слишком ужасны, слишком невыносимы. Старой церкви нельзя уже привить новых общественных добродетелей, нельзя дух живой вдохнуть в нее, принудить ее признать блага конституции и 8-ми часового рабочего дня, это было бы механично, почти позитивистично. Новая таинствен-

ная мистика, давно уже просасывающаяся из глубины, должна разлиться по земле, и новая любовь должна загореться в теле человечества. Откровения должны продолжаться, и больное человечество жадно ждет их.

Не аскетически отворачиваться мы предлагаем от политического освобождения человечества и от творчества культуры, ныне раздробленного, о нет, все это должно продолжаться и иметь еще свою миссию. Но наше сознание обязывает нас помнить, что задача наша — ускорить наступление органического религиозного периода, который преодолет рационалистическую отвлеченность, раздробленность, воссоединит в высшей полноте разорванные части духа человеческого. И мы только еще предтечи. Должно привести к скорейшему концу "отвлеченную" политику, должно задачу политики понять, как уничтожение политики, растворение в высшем, посильное сокращение ее власти, подчинение ее сверх-человеческому благу. Это обязывает к новому пути, на котором можно и должно поддерживать и чисто-политическое освобождение, поддерживать даже ту или иную партию, но никогда не сливаться ни с одним путем политики, не подчиняться ему, а наоборот, по мере сил, подчинять его себе.

Мы можем сказать, что конституционно-демократическая партия сейчас в России — наименьшее зло в сфере "отвлеченной" политики, что ее должно поддерживать в целом ряде праведных ее дел. Особенно это ясно в данную минуту. Меньше в этой партии культа насилия, не превращает она реальной политики в религию, больше в ней человеческой правды, той нейтральной социальной среды, о которой я говорил выше. Но люди, жаждущие религиозной общности, органического воссоединения, преодоления "отвлеченной" политики, как и всех "отвлеченных начал", не могут соединиться и с этой партией. Пусть политика сама по себе будет как можно менее обаятельна, но для того только, чтобы вновь стать обаятельной, как часть религиозного целого.

От редакции: А что же Вас. Васич., много лет писавший "политические передовицы"?

А предложил он в 1913 году "другой" путь, который, возможно, может привести к такому же результату.

В. Розанов

Нужно разрушить политику... Нужно создать а-политичность. "Бог больше не хочет политики, залившей землю кровью"... обманом, жестокостью.

Как это сделать? Нет, как возможно это сделать?

Перепутать все политические идеи... Сделать "красное-желтым", "белое-зеленым", - "разбить все яйца и сделать яичницу"...

Погасить политическое пылание через то, чтобы вдруг "никто ничего не понимал", видя все "запутанным" и "смешавшимся"...

А, вам нравилось, когда я писал об "а-догматизме христианства", т.е. об отрицании твердых, жестких, не уступчивых костей, линий в нем... Аплодировали.

Но почему?

Я-то думал, через это мягкое, нежное, во все стороны подающее христианство - указать возможность "спасти истину". Но аплодировали-то мне не за это, я это видел: а- что это сокращает догматическую церковь... "Парное молоко потом само испарится: а пока и сейчас - сломать-бы косточки, которые нам мешают и мы справиться с ними не умеем".

Меня проbral прямо ужас ввиду всеобщих культурно-разрушительных тенденций нашего времени... "Все бы - нивелировать... Одна - пустыня"... Кому? Зачем?

А вот "нам", "политикам"... В стране, свободной от всего, от церкви, от религии, от поэзии, от философии - Кузьмины-Караваевы и Алексинские разгулялись бы...

Тогда пойдут иные речи...

Но мне, ну вот, именно, мне (каприз истории), до последней степени тошно от этих речей. "Земля уже обернулась около оси", и "всемирная скука", указанием в которую я начал книгу о революции, угрожает теперь с другой стороны, - именно из "речей"...

Пусть они потускнеют...

Пусть подсечется нерв в них...

Савва в рассказе Максима Горького, взрывает чудотворный образ, родник "народного энтузиазма", - "суеверного, ложного"... Ну, хорошо. "Потому что христианство не нужно". Вся Россия аплодировала.

"Политики" стали пятой на горло невест, детей, вдов (слу-

чай, на которых я остановился в печати). "Кто не оставит отца и матери ради Имени Моего; - кричит политика... "И - детей, и - дома ваши"...

"Хорошо, хорошо", - слушаю я.

Теперь дайте же я полью серною кислотой в самый стержень, на коем "вертится" туда и сюда "политическая дверь"; капну кислотой в самую "сердечку", в самую "душку" их... Что такое? В - политическое убеждение (то же, что "догмат" в христианстве Ну, как? "Спорят"... "партии".

- Господа, - можно иметь все убеждения, принадлежать ко всем партиям... притом совершенно искренне! чистосердечно!! до истерики!!! В то же время не принадлежа и ни к одной и тоже "до истерики."

Я начал, но движение это пойдет: и мы, философы, религиознысты, - люди уже, во всяком случае, "высшего этажа", чем в каком топчутся политики, - разрушим мысль свою, поэзией своей, своим "другим огнем", своим жаром, - весь этот кроваво-гнойный этаж...

Ведь все партии "доказывают друг другу"... Но чего же мне (и "нам") доказывать, когда "мы совершенно согласны"...

Согласны с тоном и "правых", и "левых"... с "пафосом" их, и - согласны совершенно патетически.

Явно, что когда лично и персонально все партии сольются "в одной душе" - не для чего им и быть как партиям, в противо-лежании и в споре... Партии исчезнут. А когда исчезнет их сумма - исчезнет и политика, как спор, вражда.

Конечно, останется "управление", останется "ход дел", - но лишь в эмпиризме своем: "вот - факт", "потому что он - нужен"... Без всяких переходов в теорию и общую страсть.

"Нет-с, позвольте, - я принципиально этого не хочу"... Вот "принципиально" то и будет вырвано из под ног этих лошадей ("политики"). - "Ты, пожалуйста, вези свой воз: а принципы - вовсе не дело вашего этажа". "О принципах" мы будем говорить с орaculaми, первосвященниками, и у подножия той чудотворной иконы, которую взорвал ваш неумный Савва.

"Принципы"... о них будет решать "песенка Гретхен", "принципы" будут решать "гуляки праздные" ("Моцарт и Сальери")

Будут решать "мудрецы" (в "Республике" Платона).

Если "политика" и "политики" так страстно восстали против религии, поэзии, философии: то ведь давно надо было догадаться, что, значит, душа религии, поэзии и философии в равной степени враждебна политике и пылает против нее... Что же скрывать? Политики давно "оказывают покровительство" религии, позволяют поэтам петь себе "достойные стихосложения", "глядят по головке" философов, почти со словами - "ты существо, хотя и сумасшедшее, но мирное". Вековые отношения... У "политиков" лица толстые, лоснятся... (почти все члены Г.Думы - огромного роста: замечательно!! Лошадиная порода так и светит из существа дела, "призвания"...) Но не пора ли им сказать, что дух человеческий решительно не умещается в их кожу, что дух человеческий желает не таких больших ушей; что копыта - это мало, нужен и коготь, и крыло. "Мало, мало!" "Тесно, тесно!" Вот лозунг, вот будущее.

Но "переспорить" всех политиков решительно невозможно - такая порода.

Нужно со всеми ими согласиться!

Тогда их упругие ноги (лошадиные) подкосятся; они упадут на колени, как скакун с невозможностью никуда бежать, с бесцельностью бежать. "Ты меня победил и, так сказать, пробежал все пространства, не выходя из ворот". Тогда он упадет.

"Опавшие листья", короб II, Пр., 1915

"КАК СТРАДАНИЕ РАДОСТЬЮ МОЖЕТ СТАТЬ"

/Письма Е.П.Иванова Н.Г.Чулковой/*

Имя Е.П.Иванова хорошо известно читателям А.Блока. Блок называл этого человека: "ты мой самый любимый", "лучший из людей", "единственный" – и он, действительно, на протяжении долгих лет был самым близким и верным другом поэта.

Но не только дружбой с Блоком определяется значение этого человека в судьбах интеллигентской России. Был Е.П.Иванов постоянным участником собраний у Мережковских и В.В.Розанова, заседаний "Религиозно-философского общества", печатал свои статьи в символистских журналах "Новый путь", "Вопросы жизни", "Мир искусства", писал рассказы для детского журнала "Тропинка", очень много писал (для себя) на религиозные и философские темы.

В символистских и околосимволистских кругах начала XX века Е.П.Иванов играл роль князя Мышкина, и это было для него естественно. Он пытался примирить непримиримые направления в культурной жизни тех лет, он притягивал к себе детской открытостью, чистотой, умением сострадать, сочувствовать самым разным людям, и, одновременно, до конца быть верным своим убеждениям. Писательский талант Е.П.Иванова был невелик, но о человеческой его значительности говорят многие знавшие этого князя Мышкина XX века люди.

А.Белый называет его одним из тех, кто "выносили в личных исканиях подоплеку позднейшего символизма" (А.Белый. Воспоминание о Блоке. – В кн.: "Блок в воспоминаниях современников", т. I, М.–Л., 1980, с.211). В.В.Розанов присваивает Е.П.Иванову звание "естественного профессора": "Сколько новых мыслей, какие неожиданные, поразительные замечания, наблюдения, размышления" (В.В.Розанов. Опавшие листья. СПб, 1913, с.58). Один из сотрудников газеты "День" называет Иванова "пророком": "Когда начинает говорить Е.П.Иванов, поучительно, радостно выдавливая немногие слова, я думаю – вот пророк" ("День", 1912, 22 дек.).

А.Блок после знакомства с Е.П.Ивановым пишет А.Белому:

"В Петербурге есть великолепный человек: Евгений Иванов. Он юро-

* Подготовка текста и предисловие Л.А.Ильчиной

дивый, нищий духом, потому будет блаженным" (Собр.соч.Л.,Сов. писатель, 1963, т.8, с.100). Не зная об этом отзыве Блока, Е.П.Иванов в 1906 г. писал о себе: "Скучный, серенький, старенький. Видел я вчера, когда в город ездил, в церкви юродивого. К нему подошли две женщины и спросили его, как поступить им в деле их. А он вместо ответа, на коленях стоя, руки стал у них целовать и говорить голосом надорванным, полным слез: "прости, прости". Вот и весь ответ юродивого... Я в том же роде все отвечаю: "Прости, прости", только я гораздо хуже, куда мне до юродивого..."

Юродство станет подвигом жизни, когда в 1914 г. Е.П.женится на Александре Фаддеевне Горбовой, зная о её душевной болезни. А в 1917 г. к неустанным заботам о жене прибавятся заботы о страдающей тем же недугом дочери - Марише.

Письма, которые вы будете читать, - живые свидетельства добровольного крестоношения, свидетельства полученного в конце жизни (умер Е.П. в блокаду от голода 5 янв.1942 г.) откровения: как крест человеческий становится Крестом Христовым, и как страдание становится радостью, и по-новому открывается мир для того, у кого "сердце глубоко".



Во время блокады в Л.де.

ВОСПОМИНАНИЯ

/глава пятая

Евгений Павлович Иванов

1903-1941 гг. /

В одно время с Блоком я узнала и друга его, Евгения Павловича Иванова, - "Женю", как называл его потом Блок. Он тоже писал рецензии и статьи, и, как я знала, был близок к Мережковскому, Зинаиде Гиппиус и особенно к В.В.Розанову и был другом дома последнего. Бывал он и у нас, но редко. Он производил впечатление скромного человека, но с какими-то своеобразными и замысловатыми идеями. С Блоком они говорили на непонятном для "непосвященных" языке: какие-то недосказанные слова, отрывочные мысли - это был их язык. Есть книга "Письма Блока к Е.П.Иванову". Там тоже много таких слов, непонятных для посторонних.

Позднее он женился. Дочка его Марина была крестницей Блока. Жена его и дочь - душевнобольные. С ними жила сестра его - Марья Павловна. Умерла она в октябре 41 г. О ней с большим уважением пишет Блок в своих дневниках и письмах к матери. Ей он посвятил стихи:

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Марии Павловне Ивановой.

Под насыпью, во рву некошеном,
 Лежит и смотрит, как живая,
 В цветном платке, на косы брошенном,
 Красивая и молодая.

.....

Марья Павловна была постоянной корреспонденткой матери Блока, Александры Андреевны. Евг.Павл.очень любил свою сестру, и она его тоже любила и сострадала ему в его поистине трудной, мучительной жизни, и умерли они почти в одно время.

У меня уже после смерти Блока и смерти моего мужа случайно возникла переписка с Евгением Павловичем, и я была рада

случаю, вызвавшему ее. Всего четыре письма. В трудное время финской войны я поручила дочери В.В.Розанова, Надежде Васильевне, жившей тогда в Ленинграде, купить сластей и закусок и отнести Евг.Павловичу, который, как я слышала, очень нуждался. Поручение мое было исполнено, и вот я неожиданно получаю письмо от Е.П. Привожу его целиком здесь, а также и мой ответ на него. За этим письмом последовали от Евг.Павл. второе, третье и четвертое.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Ленинград
26/Ш-40

"Милая, добрая и глубоко, глубоко уважаемая Надежда Григорьевна! Здравствуйте! Спасибо Вам за память сочувствующую, память, которую не осилило время, память, в которой залог "вечной памяти".

Наша светлая, нежная милая Надя по Вашей просьбе задала нас. 12 февраля нанесла нам целую гору продуктов, которые теперь так трудно достать. Целых два кило куск.сахару, масла кило, колбасы ливерной (превкусной), конфет "шантеклер", печенья. Да за что это?

Разве когда Вам было тяжело, я откликнулся на Ваше горе хоть одним словом? А вот Вы какая чуткая к другим! К Пясту, ко мне, так давно не виданному. Посылаю Вам мою физиономию после промежутка в 30 лет[✠].

Правда, как и Вас меня здорово жизнь потрепала, и теперь не легко, но полегче, чем было в год. Живо вспоминаю Ваше лицо. Оно напоминало мне портреты Петра I в юности с усиками. Александра Андреевна, мать Блока, очень Вас ценила и любила. Считали мы Вас глубже и полнее "Зори"[✠] Иваныча, может, недостаточно вникая в сущность его; был тот грех.

Я слышал от Нади о конце Георгия Ивановича. Свято чту вся-

[✠] К письму этому приложена фотокарточка. Письма Е.П. мною переданы в Пушкинский Дом в Ленинграде. - Н.Ч.

кий конец, а такой конец просветляет "тем светом".^{х2}

На этом свете когда живешь, все "тем светом" живешь, говорю о собственном переживании.

Всю жизнь с ее трагедиями могу оценить и осмыслить только в свете "того света". В искании познания Слова "того света" проводил всю жизнь. Теперь оно же в моем математическом искании в связи с Платоном и бумажным квадратным листом, из которого делаются фигуры, особенно завершенные в лодочке с парусами. Вот занятие, занятное и старым и малым. И на это-то математическое мое многими смотрится как на безумие.

Впрочем, этот крест безумия я бережно несу. Он в жене моей и в дочурочке моей, милой Марише. Жена теперь дома, но мучитель ее еще не совсем отстал от неё.

Дочь в больнице. Последние дни она в сознании ясном и не смеется безумным смехом; быть может, потому, что больна ангиной, сильный жар был и теперь еще есть, а когда жар и болезнь телесная, душевная на время отходит и сознание проясняется.

Милая Надежда Григорьевна, поверьте, что болезни душевные не случайное и не напрасное явление в жизни. В нем совершается какое-то великое мировое дело. Это крест, на котором мир распят для меня и я для мира, таким крестом не грех хвалиться, ибо он позор в глазах мира.

Недаром вся литература, Шекспир, Гете, Пушкин, Блок так близко воспринимают его и трагедию жизни связуют с безумием. Трагедия там, где душа не одна, но является с духом, и дай Бог, чтобы духи чистые остенили ее. Она проходит через ад, где прошел Христос, где горнила переплавки души в пламени духов. Входя в общение с безумцами в их "дома", мы вступаем как на переходную межу между здешним и нездешним миром, "и сущим в темнице духовном, сошед, проповеда".

Думаю в трагедиях как жизни, так и искусства (когда "с ума сойти" можно с горя) мы стоим на той же таинственной меже, меж здешним и нездешним, где явны "духи в душах" и "не миновать сей двойственной нам грани" или здесь, или там, или и здесь, и там.

Потому да "испытует человек себе и так от Чаши да пьет и с чашею идет через ад, нисходя и восходя из рова преисподней".

Здесь, в этом горниле происходит творчество не над хаос-

сом, а из хаоса, как писал мне Блок. Всегда верил и искал, а теперь, признавая, преклоняюсь пред глубиной истины и премудрости православия. В этом крепко жму Вашу руку и Георгия Ивановича.

Простите за почерк и неясность выражений.

Напишите Наде, о Пясте, как-то он?

Мой адрес на всякий случай. Ленинград, 22. Карповка д.18, кв.7 Евг.Павл.Иванову. Вся семья благодарит Вас.

Остаюсь с любовью Е.Иванов.

Дорогой Евгений Павлович! Ваше неожиданное письмо очень меня обрадовало, а рассуждения Ваши о безумии глубоко тронули. Да поможет Вам Бог на Вашем пути. Я теперь стала старушкой, слабой и немощной, нуждающейся в помощи более сильных. Это грустно. Не всегда удобно обременять собою других. Но у меня есть друзья. Вот хотя бы Надя. Она меня не оставляет. Георгий Иванович, умирая, сказал: я за тебя не боюсь - ты не одна. Прожитая жизнь оставила кое-что и хорошее. Она дала опыт и разумение многого, что было непонятно в молодости. Это богатство старости. "Не возведи мене в преполовении дней"... говорится в псалме. Я понимаю это так: умирая в молодости, мы лишаемся возможности оценить по достоинству дары Божии и наследиться ими и благодарить за них. Георгий Иванович в последние годы очень это усвоил: всегда за все благодарил. Это большое благо, благодарение за все.

Вы вспоминаете о Георгии Ивановиче в молодости. Ах, я сама так строго судила его. А теперь вот любовь настоящая все покрыла собою, и все мелкое от человеческой слабости потонуло в этой любви, и осталось только одно хорошее, что не умирает и не забывается.

Я очень радуюсь Вашему взгляду на вещи. Так дорого найти единомышленника. Я мало знала Вас раньше. Даже книжечку Ал.Блока с письмами к Вам я не прочитала - не было времени заняться этим. Теперь с особенным интересом прочту ее. Меня это очень касается - Ваше общение с ним. Вы были дороги его матери и

ему, но в главном ведь вы были далеки друг от друга? Недавно в доме отдыха я встретила Н.А.Павлович. Она мне рассказывала о последнем годе жизни А.А-ча. Мне хотелось бы не с ней, а с Вами говорить об этом.

Надя мне пишет, что дочь Ваша поправилась. Слава Богу! Поцелуйте ее за меня и жене Вашей и сестре передайте всего хорошего, дорогой Евгений Павлович. Спасибо за добрые слова.

Ваша Н.Чулкова.

23/Ш-40. По приезде из дома отдыха спрашивала многих о Пясте, но никто ничего не знает. Ив.Ал.Новиков (теперь председатель Литфонда) видел его на улице, но не говорил с ним. Другие общие знакомые не имеют сведений. Из больницы он выписался 9-го марта. Может быть, он уехал в Ленинград с женой? Ивойлов^{х3} знает телефон его жены. Адрес Надежды Стефановны Омельянович (это его жена): Волынский пер. д.4, кв. II тел. А-1-74-65. Это на всякий случай, мож.б.кто спросит^{х4}.

ВТОРОЕ ПИСЬМО

Дорогая Надежда Григорьевна, спасибо Вам за письмо, за выраженное в нем сочувствие, "созвучье" наше на "созвучье слов иных", где "дышит святая сила", более понятная нам, чем до преполовения дней наших.

"Мужи кровей и льсти не преполовят дней своих", быть может, и доживая до глубокой старости. "Преполовление" или "преломление" совершается в трагический "шестой час" нашей жизни, и это не от нас "Божий дар", оттого и "благодарность".

Как дорог и близок мне Георгий Иванович за эти слова о преполовлении и благодарности за "богатство старости".

Вечерние зори "Зори".

В "звездах преполовляются зарева пожарниц преисподнего огня", в котором мир горит. Современный мир не верит в этот огонь (безумие о нем заставляет вспомнить), мир хочет отмахнуться от огня, но он есть этот преисподний огонь в живых и в мертвых, ибо у Бога все живы, огонь духов нечистых и чистых, и это друг мой

близкий Ал.Блок близко знал и "Тайный дар стихов" его ведет через этот огонь, проводит; вот в чем тайна Вечерних зорь его, в которых предчувствие утра зорей новых дней.

Здесь наша близость, это близость Вергилия и Данта, проходящих через ад.

Ведь Вергилий язычник в "главном", но ведь в главном-то он верит во Христа, а Данте "христианин" в "главном", но в главном же он и язычник еще, ибо познание его, как и у нас грешных, не до конца. Близость же в главном нашу с Ал.Блоком открывает потом трагедия жизни пережитого с безумием жены и дочурки моей милой Маринушки.

Слава Богу, она теперь с нами и такая же, как была, ласковая, добрая, кроткая, глубоко религиозная, как всегда.

А что было! Боже, не введи нас в напасть, но избави нас от лукавого. Неузнаваема была. И меня, и мать потом гнала вон. Во время болезни моей спрашивала "не подохо еще?". О священниках, чтимых ею тоже, и "дураки" да "дураки". Кошунство неслыханное, сквернословие со смехом. И так почти пять месяцев. О доме и слышать не хочет, бывало. Хочет идти жить с каким-то мужем.

Во время свидания с ней я все уверял ее, чтобы она не верила сама, что говорит от себя, а знала бы, что это другой, которому дана власть тьмы, говорит и владеет ею. Она смеялась, но как-то затихала. Выздоровление, как и шесть лет назад, произошло внезапно и в связи с молитвою священника и письмом его.

Так вот, Надежда Григорьевна, милая, если такова сила одержимости, то разве по ней о "главной" близости можно судить? Ведь о Марише моей, кошунствующей в болезни, при мне ее соседи говорили: "она по ночам так усердно молится и все вспоминает папочку своего, как ему тяжело".

И Ал.Блок не весь тот, что в высказываниях своих. Часто, горячо споря по поводу Пушкина, например, то, что отрицал, он именно это-то и признавал и больше всех ценил.

Да, в безумии мы, как в "змии", "его же создал еси ругаться ему". Но как и у крестницы его, Мариши, кто знает, что думает и переживает он в ночные часы, не отражая в творчестве до конца. Его ли вина, что не приучен слух его к часам света, 1-му, 3-ему, 6-ому, 9-ому, в этом я виню отчасти себя, потому что не умел передавать, да и несмышленый был, не пришел час еще и время в мире. И, может быть, само творчество путе-

всё в ночи понятное тем, кто в мертвых века. Не нам судить о тайнах вдохновения. Суды Божия неисповедимы.

Дорогая Надежда Григорьевна, если вас интересует переписка моя с Ал.Блоком, то много бы уяснилось, если б Вы прочли мои письма, на которые он отвечает мне. Их по историческим условиям не удалось издать вместе. Но у Евгении Федоровны Книпович (адрес ее забыл, может, знает его Н.А.Павлович) есть копии с моих писем, я посылал ей. Если они еще целы, может, она будет так добра дать Вам прочесть. Ей от меня передайте самый сердечный привет и скажите, что её письма я недавно обнаружил частично у себя и поражен был, как я все забыл и не писал ей, такой чуткой ко многому, что понятно мне теперь с годами.

Простите за неясный почерк мой, это от ночи усталость. От всех моих: от Мар.Павл., Мариши и жены моей Александры Фаддеевны — поздравление с наступающим праздником Христова Воскресения.

Христосуюсь с Вами и с Георгием Ивановичем.

С любовью, ваш Е.Иванов.

26/IV 40

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО

Милая и глубокоуважаемая Надежда Григорьевна.

Спасибо Вам за Ваши "убогие" письма, потому что они "у Бога", и от Бога мне утешение и ободрение дают, раз мои, как Вы говорите, письма "питают душу", их "реализм" будит и понуждает не забывать свое настоящее место в мире, и что все это в связи с радостью от "неистощимого источника".

К этому неистощимому источнику, бьющему, как родник, фонтаном в радужных воротах Его церкви, мы подходим через Евангелие; да не замутиятся Его воды. "Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте, в доме Отца Моего обители многи суть", а если не так, сказал бы вам: "иду приготовить место вам, и когда приготовлю вам место, возьму вас с Собой, чтоб и вы были там, где Я буду". Вот как воспринимаются с благодар-

ностью вам ваши слова : "понуждает не забывать свое настоящее место в мире". И каждая душа человеческая призвана стать обителем в доме Отчем, несмотря на все радужное разнообразие преломления в нем лучей "Солнца Правды". И какие страшные замутнения и трагические преломления приходится пройти душам, каплям-душам в пути истины и жизни – неисповедимы пути Божии! "Да не смущается сердце ваше, да не устрашается"... "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дается – Я даю; да не смущается сердце ваше, не устрашается".

Вот тот звук слова, который проводит и проводил, сопровождая и раздаваясь порой внезапно в ушах, в самые нестерпимые, казалось бы, для мира моменты трагедии жизни. И так же вдруг он внезапно оправдывался, и "воздушный замок" несбыточной мечты, чаяния оказывались на каменном реальном "основании". Совершались чудеса.

Милая Надежда Григорьевна, вы спрашиваете, как понять мои слова: "трагедия там, где душа не одна" и когда же душа бывает одна: ведь с нею всегда Ангел ее; 2) и трагедия – это положительное или отрицательное состояние; 3) если чистые духи с нею, то это тоже трагедия? Постарайсь объяснить.

Все мы сотворенные Божии твари, призваны к "рождению свыше", чтоб приобщиться к "Единородному", то есть "рожденному несотворенно", и войти в лоне Отчем в обитель Отца.

Но чтоб перейти к рождению, надо прежде ощутить и оценить в себе творение Божие. Ощутить Бога, как Творца в законе творчества Его, и свою тварность и несвободу тварную пред Творцом, свое рабство тварное в грехе и свою рабскую любовь к Богу. Здесь начинается трагедия судьбы, трагедия судьбы есть трагедия суда, ибо суд совершается в жизни в судьбах человеческих.

И вот в этом-то суде-судьбе с его трагедиями и "напастями жизни", когда человек охвачен духами, сильнейшими души человеческой, и в муках их испытывает одиночество, которое, нисходя во ад, и Сам Единородный, испытывая, восклицал: "для чего Ты оставил Меня?", – в эти трагические минуты мук Голгофы жизни совершаться начинает рождение свыше, перерожденное из тварного в единородное в лоне Отчем и воскресение Единородного.

Оно совершаться может всю жизнь и не завершиться, но оно в пути туда и на пути с Единородным к Отцу.

Потому напасть, трагедия и напасть или искушение, от которого мы молим избавить, и не ввести нас, в то же время при-

нимается нами, как чаша Единородным: "да минует меня чаша сия, но да будет воля Твоя; не как я хочу, а как Ты хочешь"; да избавимся от лукавого. "Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого".

Трагедия — это преломление тварного хлеба тела и крови в таинство пресуществления в рожденного свыше, потому с точки зрения творения оно скорбно, скорбно и Творцу, но Сам Творец, рождая свыше, терпит с нами муки рождения, сучувствуя и очищая нас в Единородном.

И одиночество с точки зрения тварного мира ведет за собой неодинокость в несотворенном единородном мире обители Отчей.

"Все вы рассетесь и Меня оставите одного, но я не один, ибо Отец со мною". И это неодинокость может только понять, тот, кто не отвлеченно философски, а плотью и кровью воспринимает в себе рождение не от мира тварного, а от сотворившего мир и рождающего его.

Потому и трагедия всегда есть начало очищающее, как знали и древние, и чистые духом. В трагедии крест, ведущий к рождению свыше и воскресению в Воскресшем Сыне Единородном.

Не знаю, объяснил ли я вам то отношение мое к трагедии жизни и двойственность восприятия ее, как нежеланного и как желанного от Отца, воспринимаемого в Творце. Быть может, в смертный час мы так воспринимаем ее двумя глазами.

Всего хорошего, здоровья, бодрости, светлости, дорогая Надежда Григорьевна. Привет от дочурочки, жены и сестры. Ваш Е. Иванов

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО

II июня 41.

Дорогая Надежда Григорьевна, простите меня за бесконечное молчание. Рад очень, что видите теперь с Надей и что, верно, ей теперь получше с ухом. А я вот такой "пеньтюх", до сих пор не был ни разу у ее друзей, а у них година тяжелая нынешний год. Спрашивать по телефону как-то совестно: все сам собираюсь бесконечно: думаю, схожу и напишу Наде, а вот так выходит, что не хожу и не пишу. Мы вообще довольно здоровы. Только у Марьи Павловны прошлое воскресенье все голова кружилась, и темнело в глазах, и рука немела. Пролежала весь день в постели. Я настоял. А потом опять на ногах. Голова пояснее, но все какой-то холод в лице и в руке. У Александры Фаддеевны всю неделю головные боли с тошнотой, это мешает ей очень на уроках, готовится к экзаменам и дома работает. Через силу она добивается своего обучения кройке и шитью, это интересное дело сродни архитектуре. Маринушка тоже усиленно учится: с 19 июня до июля сплошь пойдут экзамены. И после них через две недели служить в ясельных сестрах. Больше всех ей помогает сестра моя Маня (Мар.Пав.). Что касается меня, то я утонул в прошлом и теперь барахтаюсь в 1905 году. Дневники крайне ценны для меня и особенно записанные сны сестры Мани, очень интересны сны и значительны в высшем смысле. Вообще, на расстоянии всё передуманное и пережитое в те годы кажется цельнее, закругленнее и значительнее, особенно когда видишь соответственное в трех свидетелях об одной эпохе. Бор.Бугаев, Ал.Блок в письмах, в записях и дневники мои оказываются в контакте. Андрея Белого по письмам 1912-16 г.г. особенно по-новому воспринял, до слез близкого в интимных переживаниях, жалко много в себе и в нем. В общем, довольно усидчиво работаю: не знаю, будет ли какой толк из всего этого; по обыкновению я ничего до конца не довожу и только намечаю. Планы-то очень большие, их надо сузить, а то растягивается. Очень трудно не отвлекаться: а тянет то туда, то сюда, и не знаешь идти куда. Витязь на распутьи. Я надеюсь, мне удастся хоть в письмах поделиться своими путешествиями в прошлые времена, когда Вы были с усами и ходили на Петра I-го в молодости.

Таня[✕], бедная, мне писала хорошие письма и прислала очень ценный снимок с дома, где жили они и где умерли Вас.Васильевич и Вера^{✕5}. Самое замечательное и трогательное по краткости – это последнее письмо: я еще, конечно, ничего не ответил: в одной строчке выражено страшно много. "Трудно жить... а труднее всего, что все три сестры из разного теста сделаны и не понимаем друг друга никак". Пишет 8 мая и поздравляет с праздником, а праздник-то любимого ученика Иоанна... Мне в этот день старушка уборщица лимонные корочки преподнесла. Она у нас особенная: никогда я с ней ни о чем не говорил, а она чутьем: еще осенью в день Иоанна Крестителя шел на службу (только что поступил) и думаю: такой значительный для меня день по судьбам жизни и праздник, и чем-то отметится он, – вхожу в нашу "музыкальную школу", и вдруг эта старушка стремительно подходит ко мне, берет обеими руками мою руку, трясет и шепчет: "с праздником, с праздником вас"...

Думаю, что тесто-то одно в сестрах, да дрожжи разные и вскисло разное...

Увидите Таню – передайте ей, что я пишу. Всех их трех я люблю, и дороги они мне. Письмо хотел сегодня же писать, да поздно, 3-й час ночи, поделюсь, чем могу. Целуем ее все мы крепко. Дай Бог ей здоровья и Вам, Надежда Григорьевна. Ваш Е.Иванов.

Мне пришлось читать дневник одной Ленинградки, пережившей все ужасы блокады. Выписываю из ее дневника о последних днях и кончине Евгения Павловича:

"Мариша, дочь Евг.Пав., приходит к нам почти через день погреться и поесть. Для нее мы всегда оставляем тарелку супа и кипятка. Мы с мамой отрезали и по кусочку хлеба. Мама и позже давала Марине от себя сухарики.

По рассказам Мариши, Евг.Пав.долго пересиливал себя, ходил на работу. На работе у него все как-то не ладилось: то деньги пропадали, когда он был кассиром, то карточки, когда на нем

✕ Таня – Тат.Вас.Розанова – старшая дочь В.В.Розанова. – Н.Ч.

лежала обязанность их раздавать.

В день именин Евг.Павл., 26 декабря, я иду его поздравить. У меня с собой две конфетки, больше мне нечего ему принести. Они живут далеко, ноги двигаются плохо, и я с трудом добираться до них. В комнате светло и чисто. Евг.Павл.лежит на диване спиной ко мне. Марина ласково обнимает меня, и, нагнувшись к Евг.Павл.говорит: "Наша любимая Лида пришла!" Евг.Павл.с трудом поворачивается и с помощью Мариши садится на диван, спустив ноги. Лицо его одутловато, руки распухли, синего цвета и все в каких-то болячках. Он улыбается мне и говорит, как бы извиняясь за свою беспомощность: "Я ведь уж на закате". Я стараюсь подбодрить его, а он расспрашивает меня о маме, папе и Володе. На улице быстро темнеет, а путь мне предстоит дальний. Я подхожу к Евг.Павл. и целую его. Я уже знаю, что больше не увижу его живым.

В день именин я была единственной гостьей, пришедшей его поздравить, и Мариша говорила, что он очень оценил это. Он умер в начале января. Умер тихо, как будто заснул. Это было в пять часов утра. Марина была с ним всю ночь. Когда я с папой и мамой пришла к ним через две недели, Евг.Павл.лежал уже в гробу. Лицо его было спокойно, и он больше напоминал прежнего Евг. Павловича, чем в день его именин.

Его жена и дочь сами отвезли его на санках на кладбище. Все его литературное наследство поступило в пользование и ответственность Пушкинского Дома в Ленинграде^{*6}.

У Евгения Павловича был брат, Александр Павлович. О нем А.Блок пишет: "А.П.Иванов, действительно, человек совершенно исключительный, как и вся семья Ивановых. Оттого только, что живут на свете такие люди, жить легче — опора"^{*7}.

* Письма Блока к В.Н.Княжину "Письма Блока". Лен. "Колос". 1925г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Зоря - так звали Г.И.Чулкова друзья.

2 Прошло много лет. Умер Георгий Иванович, и в его бумагах я нахожу письмо, запечатанное и адресованное мне. В нем, между прочим, он отрекается от статьи "Об утверждении личности", напечатанной в книге "О мистическом анархизме" и кается в легкомыслии своем и торполивости.

"Родная моя Надя. Случайно раскрыл вторую книжку "Факелов", изданную в 1907 году, и перечитал свою статью "Об утверждении личности". Эта статья - дурная статья, и я дорого дал бы, если бы можно было ее уничтожить. Смерть не за горами. Я пишу это письмо, чтобы оно было свидетельством после моей смерти о моем отречении от всех этих неосторожных; торопливых высказываний..." "...Мой взгляд тогдашний на историческое христианство ложен. Ложно также мое тогдашнее понимание Догмата. Я и теперь не отрекаюсь от иных моих чаяний, надежд и предчувствий, но я решительно заблуждался в оценке богочеловеческого процесса. Главное мое заблуждение, противоречившее кстати сказать, моему внутреннему опыту, это уклончивое отношение к исповеданию той Истины, что две тысячи лет назад была воплощена до конца и явлена была человечеству в своей единственности и абсолютности. Пусть это письмо будет ключом к моему нынешнему пониманию мира. Возможно, что когда-нибудь найдется человек, который "пыль веков от хартий отряхнув", заинтересуется книгами, мною написанными. Пусть это письмо освободит меня до известной степени от ответственности за мои юношеские грехи.

Я довольно их делал и в зрелом возрасте, но такая статья как "Об утверждении личности" - воистину "вопиет". Решительно ее зачеркиваю. Я исповедую, что галилеянин раввин Иисус, две тысячи лет назад распятый по приказу римского чиновника Пилата согласно воле еврейских националистов, ожидавших Спасителя, как Израильского царя, был истинным Спасителем всего мира, и воистину воскрес "по писаниям пророков". Я верю, что прекраснее, мудрее и свободнее не было на земле существа - не было и никогда не будет. Я верю, что Он единственный.

Кому же мне было написать об этом, как не тебе, моя родная? Ты, правда, знаешь, как я теперь думаю и во что верю, но это письмо, тебе адресованное, пусть будет также свидетельством для всех. Я хотел бы, чтобы все мои литературные опыты (о, какие несовершенные!) получили оценку в свете этого моего исповедания. Только тогда можно понять мой духовный путь.

Мне было трудно. У меня не было в юности руководителя. Я жил Писанием, но без Предания. Личная моя жизнь, ты знаешь, была слепая. И до сего времени я влачу бремя моей слепоты и греха. Но - видит Бог - я был "алчущим и жаждущим правды", хоть и заблуждался и падал - и так низко!

Любящий тебя
Георгий Чулков

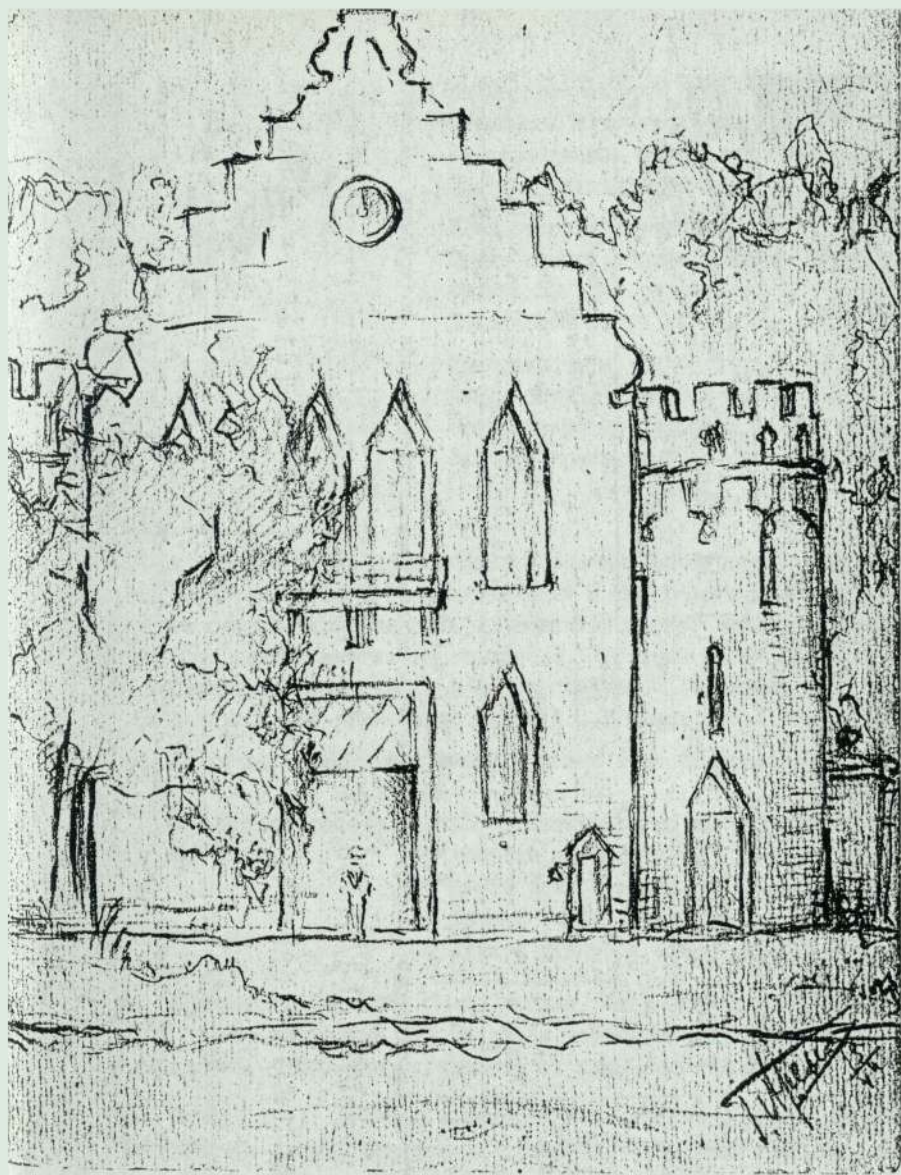
Стихотворение Георгия Ивановича "Вячеславу Иванову" говорит об этом раскаянии в самонадеянности и утверждении своей воли.

Могу ли осудить, поэт,
Тебя за мглу противоречий?
Ведь миру мы сказали "Нет" -
Мы, буйства темного предтечи,
Ведь вместе мы сжигали дом,
Где жили наши предки чинно,
Но грянул в небе веший гром,
И дым простерся лентой длинной.
И мы, поэт, осуждены
Свою вину нести пред Богом,

Как недостойные сыны
По окровавленным дорогам.

Нет, нет! Не мне тебя судить,
Когда ты, поникая долу,
Гадаешь - быть или не быть -
В сей миг - последнему глаголу.

3. В.Н. Ивойлов писал под псевдонимом Княжнин. Наиболее известная из его книг - "А. Блок и его семья."/СПБ, 1923/
 4. Пяст/В.А. Пестовский/ - 1886-1940, поэт, переводчик, декламатор. Скончался В.А. в полном одиночестве /из семьи ушёл/ в психиатрической лечебнице.
 5. Вера - В.В. Розанова /1896-1919/, третья дочь В.В. Розанова. В 1919 г. кончила жизнь самоубийством в минуту тяжёлого психического расстройства.
 6. "Записки о блокаде" принадлежат ныне здравствующей Л.Д. Барановой - "Лидочке Хохловой", - о которой упоминает В.В. Розанов в одном из предсмертных писем. "Записки" будут опубликованы в журнале "Наше наследие" в 1989г.
-



Не город Рим живёт среди веков..

У Хроноса в руках песочные часы...

/Вера Аренс/

На Царскосельские сады
 Спускался тихо вечер мая,
 На серебристые пруды
 Слегка прохладу навевая.
 И на отлогих ступенях,
 Средь вношей, взметнувших диски,
 Сидела я, а на волнах
 Плескались ветви ивы низко.
 Напротив, там, на берегу,
 Минуя остров с павильоном,
 Стоял (я облик берегу)
 Высокий красный дом с балконом^х.
 4 февраля 1922

^х Вера Евгеньевна Аренс родилась в бывшей Черниговской губернии, городе Новозыбкове. С II месяцев жила в Петербурге, Петергофе и Царском селе. В "красном доме" — знаменитом здании Адмиралтейства — у Аренсов бывали многие царскоселы. В 1910 году, после венчания, нанося "визиты вежливости" царскосельской родне и близким знакомым, "резиденцию" семьи Аренсов посетили Н.С. Гумилев и А.А. Ахматова.

16 декабря 1922: Моя жизнь — поэма — не нашедшая издателя.

29 марта: Красота расцветает тогда, когда в ней чувствуется необходимость.

От зависти она меркнет.

От любви разгорается.

От печали одухотворяется.

От культа делается божественной.

5 января 1924: Если бы не любила таких простых вещей, как цветы на окошке, солнечный луч на стене, воробушек на заснеженных перилах балкона, — чтобы мне оставалось от реального мира?

Январь 1911: Хочется закончить чего-нибудь страстно, хочется увлечься чем-нибудь безгранично, хочется, чтобы душа зажглась и горела. Чем же ее можно зажечь? Я думаю, что только искусством.

/ДНЕВНИК В.Е. АРЕНС/

П Е Й З А Ж

Леве Аренсу^X

Как на картине Рюисдала
 Чернеют старые дубы,
 Над ними небо цвета стали
 Чуть голубеющей воды.

Чем дальше вглубь, мокрец травы
 И пахнет запахом болот,
 А лес, угрюмый, величавый
 И птиц, и гадов стережет.

Из лесу змейкою дорога
 Стремится, будто в облака,
 И ели пасмурные строги
 Средь молодого дубняка.

1916 г.

^XАренс Лев Евгеньевич – брат Веры Евгеньевны. Зоолог, ботаник, натуралист, поэт. Автор первой посмертной статьи о Велимире Хлебникове "Хлебников – основатель будетляя" (журн. "Книга и революция" № 9-10, 1922 г.).

Л.Е. учился в Царскосельской гимназии (на углу Малой и Набережной ул./Соврем. адрес: ул. Пролеткульта, д. 12/) несколькими годами позднее Н.С. Гумилева, который закончил ее в 1906 г.

Декабрь 1912: Цветы севера распускаются медленно.

Май 1914: Огни всегда на том берегу (противоположном нам)

Октябрь 1919: Больше всего меня замучили и сделали скрытно – институт^X и моя преследуемая любовь.

Август 1914: Я всю жизнь построила на любви. О, какой это ненадежный фундамент!

Июнь 1916: Хорошо весной – впереди лето.
 Хорошо в молодости – впереди жизнь.
 Хотя может быть за углом ждет смерть.
 /ДНЕВНИК В.Е. АРЕНС/

^XВ.Е. училась в Смольном институте вместе со своей младшей сестрой Зоей Евгеньевной Аренс.

9 авг. 1924: Я упорно преследую всего три цели, две для себя, одну для людей. Одна из этих целей — писать хорошие стихи (мне многие говорили, что я пишу все лучше, и я сама это чувствую), печатать их, получать за них деньги и издать хотя бы одну книжку^X /.../ О второй цели я умолчу, а третья, чтобы людям, которых я встречаю, облегчать страдания и давать радость.

/ДНЕВНИК В.Е.АРЕНС/

И Ю Л Б.

Все насыщено зноем и запахом липы.
Убран в пышные травы душистый ильм.
На столе — запыленные книжные кипы,
На окне — чуть колыхнется облачный таль.

За окном золотистые видны дорожки,
Группы сочных пионов и палевых роз.
Я лениво стихов вытираю обложки
И вдыхаю привычный, пьянящий наркоз.

И душа наполняется жуткой отравой:
Мне не нужно пионов пурпурных, ни лип,
Я хочу только пряной питаться приправой,
Слушать шелест страниц и писания скрип.

Журнал "Современник". 1913.



^X Литературная деятельность В.Е.Аренс началась в 1911 г., когда в детском журнале "Игрушечка" были опубликованы ее первые переводы (сказка и несколько стихов). С 1913 года В.Е. выступает с оригинальными стихотворениями на страницах различных журналов и альманахов. В 1916 году несколько стихотворений было напечатано в журн. "Летопись", возглавляемом Максимом Горьким, который в письме к В.Е. весьма положительно отзывался о ее поэтическом даре.

Апрель 1912: Мне пришла в голову интересная мысль сегодня! Размышляя о том, что хотелось бы остаться жить в памяти людей после смерти и, отчаявшись оставить большой исчерпывающей портр (картину, - примечание В.Е.Аренс), хочу, чтобы на могильном камне не были вырезаны слова Н.Гумилева о моей красоте.

Вопреки пошлой поговорке: "Лучше поздно, чем никогда", есть роковое слово "поздно".

Оно - ужасная бездна, открывающаяся вдруг у самых ног. Это слово проклято. Оно - камень, положенный в протянутую руку.

/ДНЕВНИК В.Е.АРЕНС/

Многоуважаемая Вера Евгеньевна,

1 июля 1908

И давно и с нетерпением ждал от Вас обещенного письма и, получив его, был безумно доволен. Одно только меня смущает: Вы не пишете, позволяете ли Вы мне писать Вам сколько и когда мне захочется, или же просто Ваше письмо было милым напроком. Во всяком случае, до получения от Вас настоящего разрешения, я не буду надоедать Вам своими письмами, но, конечно, с восторгом исполню Ваше желание и буду присылать Вам мои рассказы. В этом письме посылаю Вам первый, довольно неудачный и не характерный для моего творчества. Лучшие появятся в "Весах" и "Русской мысли". Мне очень интересно, какое стихотворение Вы предположили написанным для Вас. Это - "Сады моей души". Вы были правы, думая, что я не соглашусь с Вашим взглядом на Уайльда. Что есть прекрасная жизнь как не реализация вымыслов, созданных искусством /?/ Разве не хорошо сотворить свою жизнь, как художник творит картину, / как поэт создает поэму? Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твердого мрамора высекают самые дивные статуи /?/ А у Вас творческий ум, художественный глаз и может быть, окажется твердость руки, хотя Вы упорно ее в себе отрицаете. Вот одна сотая из того, что можно выразить Вам на Ваши слова. А обман жизни заключается в ее обыденности, в ее бескрасочности. Жду от Вас разрешения писать и прошу свидетельствовать мое почтение Зое Евгеньевне.

Искренне преданный Вам

Н.Гумилев.^x

^x Конверт адресован: Ея Высокоблагородию Вере Евг.Аренс, Приморская Санатория. П.Шт.: Царское Село, 3 /?/ июля 1908 г.

Январь 1911: Уайльд удовлетворяет меня больше Шопенгауэра.
Очевидно, красота лучше правды. Правда печальна и отнимает жажду
жить. А красота заслоняет жизнь радужными иллюзиями и манит вдале

/ДНЕВНИК В.Е.АРЕНС/

САДЫ ДУШИ

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И — кто поймет намек старинной тайны? —
В них девушка в венке великой жрицы.

Глаза, как отблеск чистой серой стали,
Изящный лоб, белей восточных лилий,
Уста, что никого не целовали
И никогда ни с кем не говорили.

И щеки — розоватый жемчуг юга,
Сокровище немислимых фантазий,
И руки, что ласкали лишь друг друга,
Переплетаясь в молитвенном экстазе.

У ног ее — две черные пантеры
С отливом металлическим на шкуре.
Взлетев от роз таинственной пещеры,
Ее фламинго плавают в лазури.

Я не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны.
Пускай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны.

Н.Гумилев.

/Ноябрь 1907/ Париж



Многоуважаемая Вера Евгеньевна,

Октябрь 1908.

Приветствую Вас из Константинополя. Я долго ждал Вас или Ваше письмо, но так и не дождался. Скоро буду Вам писать. Очень прошу засвидетельствовать мое почтение всем Вашим.

Мой адрес /пока/ Греция, Патрас, Главный почтамт, до востр.

Преданный Вам

Н.Г.^X

/открытка с видом Константинополя/

Многоуважаемая Вера Евгеньевна,

15-19 окт.1908.

Приветствую Вас и Зою Евгеньевну из Египта^{XX}. Скоро думаю возвратиться. Может быть, буду в Палестине. Я думал писать Вам большое письмо, но это невозможно. Я все время в разъездах. Кланяюсь Вашим и Владимиру Андреевичу^{XXX}.

Преданный Вам,

Н.Гумилев^{XXXX}.

/почтовая открытка/

^X Очевидно, Гумилев действительно собирался ехать в Грецию вместе с Верой Евгеньевной - из Константинополя. Не дождавшись ее, он направился в Египет. Эти послания Николая Степановича представлял особый интерес, поскольку писались в то время, когда он упорно добивается руки А.А.Ахматовой, посвящает ей стихи и рассказы.

^{XX} В свое первое путешествие по Африке Гумилев отправился в сентябре 1908 года, незадолго до этого сделав очередное предложение Ане Горенко (Ахматовой) и получив очередной отказ.

^{XXX} Владимир Андреевич Гаккель, стал мужем В.Е.Аренс спустя четыре года, 30 августа 1912 года.

^{XXXX} Оригиналы текстов письма и двух открыток Николая Гумилева - Вере Арэнс находятся в ЦГАЛИ, ф.1216, оп.1, ед.хр.7, л.1. (см. также книгу "Н.Гумилев. Неизданное и несобранное". Париж, 1986, в которую вошел тот же корпус текстов).

Вера Евгеньевна Гаккель



Многоуважаемой Вере Евгеньевне Аренс^х

Микель-Анджело, великий скульптор,
Чистые линии лба изваял;
Светлый ласкающий пламенный взор
Сам Рафаэль в минуты восторга писал.^{хх}

Даже улыбку, что нету нежнее,
Перл между перлов и чудо чудес,
Создал веселый властитель Кипреи
Феб златокудрый, возничий небес.

Н.Гумилев.

1906.



^х Стихотворение представляет собой надпись на книге Н.Гумилева "Путь конквистадоров" которую Николай Степанович подарил Вере Евгеньевне.

^{хх} В тбилиском издании (Н.Гумилев. Стихи. Поэмы. Тбилиси. 1988 г., с.414) эта строка изменена - видимо, в угоду "благозвучности": "Сам Рафаэль, восторгаясь, писал".

"Роман" Н.Г. и В.Е., вероятно, развития не имел. Но в 1919 году, когда Вера Евгеньевна работала переводчицей в издательстве "Всемирная Литература" (переводила стихи Г.Гейне) они, по всей видимости, могли встречаться и в редакции, и на литературных вечерах. Об одной такой встрече упоминает сама В.Е. в своих воспоминаниях о тех годах: "3-й вечер. А.Блока не было. Была Ахматова, Н.Г., как будто Оцуп..." (20 янв.1945 г.).

«АРИОН».

Глициная набережная, д. 16.

Тел. 2-65.

Многочахлая Вера Евановна!

Посылаю Вам два прилагательных приписки. Билета
 куда Вам самим удобнее выехать, шена прила-
 гована, а свою - Ваму дамито, как поручится,
 в Петербург 25 в ию. - Цена "Образцовый Музей"
 Н. Зинкина, а в следующую за за ней петербург -
 Александров И. Александров из двух образцов. В петерб.
 буду писать я свои стихи: "Чувства Вера у И. Антона
 во дворе Кавказки Кривки - Профет нежданки и сад
 у него крамучески ерши аэра, из подобовляющаяся в
 верах или.

Всего Вам Рождественский

Растаял лед Обводного канала
 И солнце светит ласково давно,
 А трубы смотрят строго, как бывало,
 Ко мне назойливо в окно.

Я знаю, весело смотреть на бег трамвая,
 На поезда, идущие вдаль,
 Но сердце требует обещанного рая,
 Полянью, мятой пахнувшей земли.

Когда придет безудержное лето
 И раскалятся камни мостовой,
 Я город прокляну. Поиду грустить к поэтам
 В гостиной чопорной над сонною Невой. *

Они помнут, наверно, души многих
 Томятся в городе и рвутся в чернозем,
 А лето жаркое так пыльно и убого,
 На волю хочется - послушать вольный гром.

Так весело проникнуть в гущу сада,
 Босой пройти по утренней росе,
 Где яблони белют за оградой
 В благоухающей красе.

I мая 1919 г.

* в оригинале - пометка рукой В. Е. Арена:
 "Клуб поэтов "Арион"

§ § §

Где только маятник хозяин,
Мне жутко в этой тишине
Болот стоячих, как во сне,
Где только слышно, что нельзя им.

Как лошадь взнузданная в пене
На поводу моя любовь,
Ей остудить бы надо кровь,
Чтоб попривыкла к перемене.

Вот полуночная сова
Леса печальным криком будит,
И злые вести сердце студят.
Я слышу вещие слова.

Да, ветра вольного полет
Болото высушит не скоро.
Чем жить, что думать в эту пору,
Смотря в тринадцатый пролет.

И мудрость будто в пустоте
Свой такт по нотам отбивает,
Поэт сегодня умирает,
Грохочут громы в высоте.

Где только маятник хозяин,
Мне жутко в этой тишине
Болот стоячих, как во сне,
Где только слышно, что нельзя им.^х

Среда, 1 февр. 1922

х

1921 год. 1-го сентября в газ. "Петроградская правда" появилась статья о "Таганцевском деле", где приводился список расстрелянных "заговорщиков", среди которых был и арестованный 3 августа 1921 года Николай Степанович Гумилев. Стихотворение написано ровно через 5 месяцев после опубликования этого списка.

Муза.

Когда я погую жреу ее прихода,
Узаны кажутся висят на волоске.
Что погести, что поносив, что свобода
Кред милой гоствей с дудогкой в руке.
И вот вошла, откинув покрывало,
Внимательно взяв шурло на меня.
Ей говорю: тыль Данту диктовала
Страницы ада? Отвечает: я.

Сина Ахматова.

7 сент. 1933.

126. Стихи Александрит в Рязаном
Анна Андреевна Ахматовой^{х)}

На перекрёстке оженных дорог,
Вторично встретясь, мы столько вишем...
Не провугает еще страстишки роз,
Сарагалии себе не касались

И даме вилась и меду, словно друг
Тыдеи на страничку кеуко и лукаво,
Над Вами меркаул, но светился круг
Сиялбем, то советсь светом.

13 сент. сбрд 1933,

У) Отвеш ка се озира в мит. амдам,
Наши саны по мрей мнство

29 мая 1945: Вчера была у Ахматовой. Специально для того, чтобы показать ей материалы о Н.Г.^X Встреча была интересной (два хищника с двух сторон ручья, увидевших в воде отражения потустороннего и оцетинившихся в меру).

По существу потом, а важнее, что, будь Ахматова простой испанской табачницей (девушки с фабрики), она бы ловко дралась и царапала соперниц, хорошо бы носила свою желтую шаль и нервно откусывала бы стебли роз (или что там полагается) в ожидании своего контрабандиста.

Ну что же /, /эта нервная сила, властность и сдерживаемая злость, пленяют не меньше, чем ее ум, образование, культура и стихи.

Но в стихах она покорная, покинутая, печальная.

В жизни — сейчас покорившая, отнявшая, победившая, но остановившаяся.

12 ноября 1944: Последнее время часто вижу Анну Андреевну Ахматову. Она похорошела, очень деятельна, выступает часто, принимает гостей.

В домашней жизни очень мила, столуется у Ирочки Пууниной/^{XX}. С ее маленькой дочкой Аничкой^{XXX} очень дружна, как когда-то с самой Ирочкой и тоже, шутя, обучает ее французскому языку. Она научила ее многим словам и Аничка важно повторяет: *le bouche, la tête le machoir* и другие/слова. Куклу свою она назвала *Violette* (фиалка). Зовут ее (Ахматову. — Примеч. В.Е.Аренс) дети "Акума", "Акумочка".

9 января 1945: 31-го явился Геня^{XXXX} и застал нас в комнате, разделенной на карты, за обеденным столом, где мы пили чай. Сидела с нами Ахматова... Геня рассказал нам о тех битвах, в которых он участвовал.

Новый год встречали у Ахматовой, она была нездорова и сидела в глубоком кресле у печки на фоне яркой желтой вышивки на спинке кресла. Были кроме Н.Н. и Ирочки, Геня, Авг/уста/ Ив/ановна/Львова^{XXXXX}, ее дочь Ирина и молодой симпатичный артист Александринки

^X Николай Степанович Гумилев.

^{XX} Ирина Николаевна Пунина, дочь Н.Н.Пунина и Анны Евгеньевны Аренс сестры Веры Евгеньевны.

^{XXX} Анна Генриховна Пунина, дочь И.Н.Пуниной.

^{XXXX} Евгений Львович Аренс, сын Сарры Иосифовны и Льва Евгеньевича, племянник В.Е.Аренс.

^{XXXXX} Николай Николаевич Пунин; И.Н.Пунина; жена художника Петра Ивановича Львова.

Ал/ександр/ Ал/ександрович/ Драницын (необычайно высокого роста). Стол накрыли без меня. Была водка и вино, закуски, винегрет и кофе. Тосты были сердечные, но не оригинальные. Разошлись в третьем часу.

/ДНЕВНИК В.Е.АРЕНС/

11 июня 1946: Пришла как-то на Фонтанку, захожу в кухню, и предомной оказывается Анна Андреевна с блюдом в руках. На блюде дымящаяся индейка. Анна Андреевна приветливо поздоровалась со мной и говорит: "Вам будет большая удача, потому, что навстречу Вам вышла женщина с блюдом, полным жаркого. (она сказала "индейки") /,/ а про себя мы обе подумали: и какая женщина. Я ответила: "Конечно, да еще сказочная птица!" Анна Андр/еевна/, подумав, согласилась: "верно, теперь это редкая вещь". Вкуса индейки мне не пришлось узнать.

17 июля 1946: В понедельник третьего дня я была у Анны Андреевны Ахматовой (на Фонтанке)^X. Она сказала (через Марочку)^{XX}, чтобы я зашла к ней. Я никак не смогла раньше, хотя и думала, что это книга ее стихов (очень замучилась), которую она мне обещала. Оказалось не то! А.А., зная, как мне тяжело живется (особенно материально) предложила мне денег. Немножко тяжело было, но я была тронута, поблагодарила от души и сказала, что в долг, хотя и медленно выплачиваю свои долги. Анна Андреевна сказала:

"Как Вам угодно". Это на мои слова "в долг".

— Сколько?

Я назвала довольно скромную цифру (для нее) /,/ она прибавила еще и подала мне три бумажки. Она делает это величественно и просто, легко и от души.

^X В.Е.Аренс была довольно частым гостем в Фонтанном Доме. В разное время на Фонтанке жили ее сестры А.Е. и З.Е.Аренс.

^{XX} Марина Александровна Пунина, дочь З.Е.Аренс и А.Н.Пунина.

Что поднимается на тоскан-
ских горах, тот советует на
всякой трагедии сцены, и
физики.

сп. Ницше.

На память об Зои
и Саше Гункиных
19/11 1944.

ЧЕТКИ

Милой
Вере Евгеньевне
Аренс —

в знак уважения и сердечной признательности

А. Ахматова.

28 дек. 1944

Фронтальный
Дом.

У у у
Уж распустилась жимолость в саду,
Сирень кистями украшает скверы,
Но странно мне, что имя Веры
С моею жизнью не в ладу.

С тоскою и тревогою иду,
Хотя глаза мои ясны и серы,
Одна любовь моя не знает меры,
Она зажгла лучистую звезду.

Но, может быть, опять в весенний день,
Глядя на небо темное от зноя,
У моря, под скалою улегшись в тень,
Заслушавшись немолчного прибоя,
Что так баюкает осмеянную лень,
Я обрету сияние покоя.

14 сентября 192 ...





Евгений Львович Арсен /1969 г./

Редакция благодарит Евгения Львовича Арсена,
племянника и воспитанника Веры Евгеньевны, за
предоставленные материалы.

Подготовка текста, составление и публикация
Арсена Мирзаева при участии Дениса Веселова.

Bookstand

Фридрих Горенштейн - родился в 1932 г. в Киеве. Окончил сценарные курсы. В 1962 году опубликовал в журнале "Юность" рассказ "Дом с башней". В 1972 году по сценарию Горенштейна Андрей Тарковский снял фильм "Солярис". По сценариям Горенштейна поставлено восемь фильмов, в том числе три телевизионных. Однако ни одно прозаическое произведение после 1962 года в России опубликовано не было. С 70-х годов произведения Горенштейна начинают систематически публиковаться на Западе в журналах: "22" (Израиль), "Время и мы" (Нью-Йорк), "Континент" (Париж), "Слово" (Нью-Йорк). Они переведены на французский, английский и ряд других языков. Наиболее крупные книги, изданные за рубежом: "Псалом" и "Искушение" (завершен в 1975 г.).

Произведения, распространяемые Тамиздатом, печатаются без ведома их авторов.

"Самая бездонная загадка, когда никакой загадки нет. Самый бездонный колодец это невыкопанный колодец. Культура России связана с Европой, а цивилизация - с Азией. Это проблема, но не загадка".

"...правда же состоит в том, что человек существо проклятое с момента изгнания из рая - Эдема. Понять правду о себе доступно каждому, однако не каждый согласится её понять. Мало кто согласится. А ведь правда о себе не только облегчит, но и укрепит жизнь. Каждая удачная минута, всякое счастье, любое доброе дело будет восприниматься тогда как незаслуженная, а оттого вдвое дорогая награда, всякая же беда и неудача будет приниматься как заслуженное, а оттого менее обидное наказание. Не ждать наград, которые всегда должны быть неожиданны и восприниматься как незаслуженные, и не страшиться наказаний, которые всегда должны восприниматься как естественные - вот подлинная судьба религиозного деятеля".

"Первосвященники и старейшины и весь синадрион, верховное судилище искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: "Могу разрушить храм Божий и в три дня создать Его". Кому же говорил это Иисус? Согласно Евангелию, говорил он это только апостолам, а значит, два неизвестных лжесвидетеля были из апостолов. Всё дальнейшее поведение Иуды Искариота, который в христианской литературе и Евангелии от Иоанна представлен как исчадие ада, в действительности говорит о том, что человек этот был лишь орудием в руках наиболее опасных и хитрых врагов Иисуса среди апостолов, которые так и остались неизвестными".

"Нет, религия не обновит русский характер, ибо сама она есть порождение русского характера и сама она требует обновления. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что русская религия в силу своей азиатчины лишь наглядно выражает то, что характерно для нынешнего состояния религии вообще. Сегодня особенно понятен страх Толстого перед церковью, делающей веру публичной и коллективной. Все религии складывались, когда основная

масса людей была темна и по-овечьи нуждалась в пастыре. А между тем, религии интимность необходима не менее, а, пожалуй, гораздо более, чем любви. Никакой другой человек, как хорош бы он ни был и каким бы саном он ни был облачен, не должен и не может нарушать интимность веры, ибо церковная публичность веры еще в большей степени, чем публичность любви есть путь к разочарованию и духовной гибели. И так ли далёк публично верующий от публично прелюбодействующего? Если в прошлом публичность веры была печальной необходимостью, то в будущем интимность веры станет неизбежной потребностью. Интимность религии это единственный путь к религиозному обновлению. Люди могут знать, что кто-либо влюблен, но как он любит не должны знать либо должны лишь догадываться. То же и в религии. Значение религиозного обряда, лишаящего религию интимности, должно всё более ослабевать, а значение интимной веры — увеличиваться".

"Термин "народность" на Руси давно уже стал идолом. Смысл его давно уже канонизирован славянофильской интеллигенцией: народность, — это простонародье. Есть у славянофила и Библия своя, которую они изучают с тщательностью монахов-фанатиков, которой безоговорочно верят, которой кичатся и которую противопоставляют в спорах Библии иудеев. Библия эта — русская деревня.

— У вас Библия, а у нас русская деревня, вот она наша Библия. Вам нашей Библии не понять.

Здесь та самая тайная мечта славян об остановке истории сказывается. Тут и умница Герцен с нелепым упованием на общину. Тут пророк русской несамостоятельной интеллигенции Достоевский, обнаруживший народное якобы в лучшем его виде среди каторжан. Что же оно, народное, не по Достоевскому, а по Пушкину? По Пушкину, народное — не простонародное, а национальное. Народность в писателе, пишет Пушкин, — достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками. По Пушкину, аристократ Расин народен для француза, но не народен для немца. Пушкин, как всегда, гениально ясен, однако даже пророческий гений его не мог понять того, что не было ещё рассказано Господом через илущее время. Ибо время — это язык Господень, которым он говорит с человеком. Во времена Пушкина народный вопрос,

не был ещё трагическим вопросом. Во времена Пушкина проблемы "народ" — не существовало в таком трагическом осмыслении, как существует она ныне. Да и подлинно народного было во множестве, казалось, разливным, неисчерпаемым океаном подобно полезным ископаемым нашей планеты. Кто же его иссушил, исчерпал? Народное сознание исчерпало, через которое народ в правители истории начал выбираться. Плодоносен народный инстинкт, этот массовый вечный разум от дедов-прадедов, где, казалось бы, по-своему поступает человек, по-своему говорит, а в действительности прадед его так говорил, дед его так поступал. Не своё человек говорит, а общее, вечное. Как только начинает говорить человек своё, будучи лишён культуры, так сразу он становится бесплоден. Народ научить не может, но у народа научиться можно, чтоб затем объяснить ему самого себя. Это святая обязанность личности. Народ не способен понять свой плодоносный инстинкт своим низким бесплодным сознанием хотя бы потому, что для того, чтоб понять свои национальные инстинкты, надо обладать наднациональным, общечеловеческим сознанием. Когда народ хочет своим низким сознанием понять свои глубокие инстинкты, получается та лубочно-частушечная философия, перед которой преклоняются славянофилы в России. Непутевый разбойник, оппозиционер или правитель — вот конечный продукт народного сознания. Но ещё хуже, когда культура, обязанная служить народу, разъясняя ему самого себя, то есть разъясняя народу народность, трусливо-рабски пытается услышать от народа истины о себе, о культуре, о личности. Этим она развращает народ и, воздавая почести бесплодному народному сознанию, уничтожает в народе плодоносный инстинкт. Не много его уже осталось, кое-где сохранился он лишь там, где человек мыслит глупо, а говорит умно... И если в XIX веке России удалось создать великую культуру, то это благодаря тому, что Петровские реформы оторвали интеллигенцию от народа, тому, что черная из плодоносного океана народного инстинкта, культура не была поработана народным сознанием. Лишь позднее, к концу века, благодаря стараниям разночинцев-обличителей, народное сознание начало поработать культуру, и последователи этих обличителей довели этот процесс до своего предела".

"Даже великое искусство не может постичь Бога, но оно есть знамение, подобно пламени из тернового куста. Знамение того, что Бог рядом".

Фридрих Горенштейн: "ПСАЛОМ". Изд-во "Страна и мир" 1987 г.

Редакция: Алексей Гурьянов,
Александр Новаковский,
Дмитрий Синочкин.

Художник: Наталья Доброскок.

Фото: Юрий Ермолов.

По вопросам подписки обращаться:

195197, пр. Металлистов,
113 - 20
Новаковскому А.Е.
/тел. 213-52-08/

195253, ул. Тухачевского,
5 - 4 - 2
Гурьянову А.Ю.
/тел. 310-45-75/

